63.3(2)
Ф-91
Инв. 3459
25247
№ 25247

А. ФРОЛОВ

ПРОБУЖДЕНИЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
1923

Включено
в
каталог
1941

25247

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
обозначенного здесь срока

РПМ БАН, з. 126, т. 300 000, 1.III.94

30
9(47)8(003)
9з91
Библиотека Центрального дома работников просвещения и искусства
Проверено
1955
1965
3459
Ин. № 25247

А. ФРОЛОВ

ПРОБУЖДЕНИЕ

9 8 7

ВОСПОМИНАНИЯ РЯДОВОГО РАБОЧЕГО

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

25247

У.С.Р.Р.
ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
1923

1941

Харьков, 1-я Гостипография им. тов. Петровского Г. И.

Зак. № 711. Р. У. П. № 2365. Тир. 5.000 экз.

Часть вторая

Стучит-выстукивает поезд, летят столбы, мелькают станции. Вагон третьего класса освещен тускло: свеча в фонаре, как ночник в спальне. Все спят, уже поздно. Нам и не дремлется. Мы отдыхаем. После пережитых потрясений мы чувствуем себя, как дома. Линия железной дороги самая спокойная. Из Питера, Москвы, Тулы вырвались,— тут бояться нечего. Ехать — порядочно. Впереди — много безмятежных часов. Одно плохо — мало денег. Да в будущем — неопределенное: как устроимся, не к отцу с матерью едем — к чужим. Все зависит от бумажки папиросной в кармане: Екатеринбург, библиотека Белинского, спросить «имя — рек» и произнести пароль. Еще ехали мы туда, как актеры: оба бритые, в легких пальтишках, общипанных брюченках, душа на распашку. Настоящие Аркашка с Генашкой, и оба эти роли знали хорошо.

Если бы несчастье какое случилось, в роде провала явки, решили дорогой: он в церковь «божьей дудкой» поступит, певцом, я в контору шмыгну — «душой чернильной».

Едем, в окна поглядываем. Большие поля кругом белые, снежные. Ветряки попадаются, как присевшие отдохнуть серокрылые птицы. Бедные, соломенные деревни. Телеграфные столбы, станции, станции. Разговоры — о делах домашних, о крестьянских; в третьем классе этой линией больше мужички ехали. Попадался купец из местечка, жирный, засаленный, в полушубке. На каждой станции слезал «буфет проверять», т.-е. выпить, и, багровея, кряхтел.

— Урожай-то ноне хорош будя. Ишь, снегов сколько. Благодать!

— Эй, ты, борода,— обращается к мужику.— Оснецовские, что ли?

— Да, батюшка, Оснецовские, в город едем, сынка в госпитале проведать,— с Японии привезли.

— То-то я гляжу, образина-то подходяща.

— Во-во, милок, мы самые и есть, Оснецовские.

— Пострадал, значит, сын-то за веру?

— Да, голубенок, дай бог здоровье, пострадал. Верой послужил.

— Это хорошо, старик, пользительно, за родину и царя-батюшку. Косоглазых надо бить.

Война кончилась, а тут все о всплесках ее болтали и ни слова о событиях в Москве. В центре жизнь бежала, а тут она двигалась медленно, как перегруженный товарный поезд. Над нами, на самой верхней полке студент студенту доказывал что-то о культурных преимуществах Востока над Европой.

— Европа — что старая изношенная галоша. Сколько теперь ее ни заливай, она долго носиться не будет. Изжила себя. А вот Восток, в роде Японии,— другое дело. Мы до войны и не знали Японии, а она, оказывается, не глупа. И техника богатая и людей умных имеет. Она — маленькая, а сильнее нас, больших дураков. Трепку нам дала по первое число и как бы сказала: на Восток больше поглядывай, а не на Запад, потому — мы Азии больше сродни, чем гнилой Европе. Европе, как старухе, прекрасного младенца, новой жизни не родить, а Восток — молодой, сильный, здоровый. У него все преимущества на дальнейшее развитие. Возьмите историю: Европа, будучи молодой, на чем училась: на культуре древнего каменно-глыбного Египта, розовой, как поэзия, Греции и воинствующей Римской империи, а Восток изучил все, что Европа изучала, да ее самое вдобавок и ко всему свое дал. Востоку до старости далеко, и Европу он перегонит. Какое из восточных государств застрельщиком будет, трудно сказать, но мы, русские, побитые азиатами, поумнеем.

— А, по-моему, век останемся дураками, потому что нас забили,— возразил другой.— Нас бьют, как третьего: и от Европы и от Азии, потому что мы — ни такие, ни сякие. Или свое что дурацкое придумаем — тогда не ручаюсь!

Второй студент был филолог, веселый парень, всю дорогу до Самары рассказывал еврейские анекдоты и нарочно дразнил своего коллегу — юриста, ему противореча во всем.

— Ты — дурак. Юрист.

— Ну, а ты?

— А он мне нравится,— сказал Константинов.— Напоминает Абрама.

«Абрам» (Крыленко), небольшого роста, питерский студент, был блестящий оратор, любимец питерских рабочих 1905 года. Константинов познакомился с ним у нашей тулячки-курсистки, Мани Розиной, родственницы Шишкова по жене. Один был хорош, как певец-рабочий, другой, как оратор-студент. Константинов был по уши влюблен в ораторский талант Крыленко. К тому же Абрам был очень веселый, артельский парень.

— Абрам,— говорят ему,— прочти лекцию на такую-то тему.

— Ладно.

И, не задумываясь, начинал красиво, остроумно говорить на заданную тему. Он как бы точил свой язык, чтобы потом острием его нанести удар правительству Николая.

— Вот быть таким оратором, как Крыленко,— сокрушался, завидуя, Константинов в первые дни моего пребывания в Петербурге,— это чего лучше. А то, что́ у нас в Туле — ерунда!

Я не возражал Константинову, потому сам был «орателем», как потом называли нас рабочие, и полагал: «Поживем — увидим. Не хуже студентов будем. Не боги горшки обжигают».

Подмечаю только, что Константинова в революции не сущность ее удерживает, а красота. Художник он был по натуре. А в революции красоты много. Щедрая она на красоту.

Миновали Сызрань, к Самаре путь держим, к товарищу «Марксу», у нас в Туле когда-то бывал. Настоящий Маркс по внешности: такая же курчаво-пышная шевелюра и все лицо в бороде, из волос глаза, как из леса, смотрят. «Маркса» в Самаре не застали, а на Жигулевские горы полюбовались. Стеньку Разина вспомнили и матушку-Волгу поглядели в ледяных ее латах. Могучая, широкая, настоящая русская, горевая река в некрасовских песнях.

Захотел Генашка голос попробовать. К соборному регенту в дом пришли, рекомендуемся:—Питерские певцы,— попробуйте.

К пианино подошел.

— Возьмите «до», — говорит Генашке.

Генашка взял слегка.

Регент насторожился.

— Может, вы прямо соло споете?— спрашивает.

Генашка назвал музыку какого-то композитора, соло для баритона «Ныне отпущаеши», и запел.

В дверь выглянула женская головка. Регент поражен.

— Господа,— говорит растроганно,— вы не для наших хоров. Нет. Я вас возьму. У вашего товарища, очевидно, такой же голос,— обращается к Генашке.

— Да,— отвечает Генашка.— Это второй тенор, только сейчас в дороге горло простудил,— знаменитый тенор.

— Я вижу. Только не в таком хору вам петь, как наш. Я вам дам сейчас письмо к моему другу-регенту, у того большой хор. Лучший, чем соборный. Идите, идите, вы — прямо находка для Самары. Как вы к нам попали, удивительно!

И дал нам письмо к своему приятелю.

— Пригодится в минуту жизни трудную,— подмигиваю Генашке.— Клади в карман.

Двинулись дальше, к Екатеринбургу.

А вот и он. Небольшой, но красивый; улицы квадратами, садистый, с особняками. На золоте Екатеринбург стоит, и богат город. Торговый и промышленный. Большой Верх-Исетский завод с мартеновскими печами, знаменитый медно-монетный двор. Вокруг города тоже много заводов, шахт и хищников-кустарей — золото- и платино-искателей. Оптовики-торговцы в городе; с заводами[1]) дело имеют. Церквей мало, одна мечеть, татар — уйма и три пожарных каланчи. Тюрьма за городом — против татарского кладбища. Большой и ясный Исетский пруд, и на берегу окружной суд. Освещается город электричеством и окружен со всех сторон здоровой хвойной щетиной. Екатеринбург весьма похож на Таммерфорс или на уголок Петрограда, недалеко от адмиралтейства. Его так и называют уголком Питера, — тихо только в нем и трамваев нет. Извозчики на вятках[2]) ездят.

Приехали мы в город утром. Уральский мороз, сухой такой, ядреный, градусов на сорок. И деревья, и железо, и кирпич,— все словно белой овчиной прикрыто: в инее. И так — в роде тумана

[1]) Заводом называется не завод, как предприятие, а местность, поселок, где завод стоит.

[2]) Вятка — маленькая выносливая лошадка.

над городом. Мороз крепкий, а мягкий — не услышишь, как и нос отхватит. Жители все одеты в пимы[1]) и дохи. Идут по улице толстыми-претолстыми, будто и худых нет.

— Ну, Генашка, попали,— говорю я, оглядывая нас в наших трехгранках.

Брели по улице с корзиночками в руках, в коротеньких синеватых пальтишках и в круглых шапках. Самый ненаблюдательный человек и тот мог нас приметить и сказать, что мы — не уральцы. Хорошо еще, что нигде на углах городовых не торчало. Этой твари там было мало, как и трактиров (кажется, ни одного во всем городе), а то плохо бы нам пришлось.

Остановились в меблирашках. Денег в кармане четыре рубля, и во всем городе — одна знакомая, тулячка, барышня. Комната—рубль в сутки, самовар—полтинник, на целковый жратвы купили и, ткнувши паспорта для прописки, отправились в библиотеку Белинского: на явку.

— Такой-то здесь?— спрашиваем.

— Нет,— отвечают. И оглядывают нас с головы до ног.— Вы, должно быть, приезжие?— спрашивают.

Тихо шепчем:

— Да, из Петербурга.

Нам так же тихо:— Товарищ такой-то вчера арестован.

— Да-а-а, вот это закуска,— подивился Генашка.— Что же делать?

— Может, вы укажете нам кого-либо, кто знал хорошо его,— попробовал попросить я.

— Нет, мы никого из его знакомых не знаем.

И опять испытующий взгляд на нас.

— А, впрочем, подождите. Я спрошу сейчас.

И скрылся за книжными шкафами.

— Ступайте в банк и спросите Патрикеева. Расскажите ему все.

Отправились к Патрикееву. Элегантный банковский работник; обо всем расспросил нас подробно и сказал, что почти вся организация на-днях арестована, а сам он не в курсе дела.

---

[1]) Валенки.

Приплелись мы в номер, засели за самоварчик и думаем: вернуться в Россию не с чем, продать нечего, денег всего-навсего на два дня, организация арестована, никто нас не знает. Как быть?

Решили итти искать работу, а потом начать строить организацию. Знакомая барышня, М. Рагинская, к которой мы зашли, взялась посодействовать нам в восстановлении кое-каких связей с прежней организацией.

Я стал переходить из фирмы в фирму с предложением себя в качестве конторщика. Всюду встретил отказ. Даже и не спрашивали, где служил раньше. По одному виду, вероятно, брать не хотели.

Генашке счастье улыбнулось. Великое дело — голос. Попал в архиерейский хор. Приходим, как в Самаре, к регенту и рапортуем:— Певцы из столицы.

— Оба?— осведомляется регент, подозрительно нас осматривая.

— Нет, пою только я,— выступает Генашка,— а это мой товарищ, Аркадий — артист.

— Вот, извольте-с, рекомендация,— говорю я, протягивая письмо самарского регента к своему другу,— в Самаре не захотели оставаться, хоров нет хороших и труппы слабые.

Регент прочитал письмо.

— Хорошо. Разрешите попробовать.

Сел за фисгармонию. И потекло:

— «До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до...».

— Прекрасно. Начнем еще раз.

Взял на тон выше.

— Превосходно,— встрепенулся регент.— У вас блестящий баритон. Я вас направлю к его преосвященству. Хорошие голоса он сам пробует.

Генашку повели в архиерейские покои, я остался у регента.

Через полчаса приходит, довольный и радостный.

— Кончено, устроились, идем за вещами.

С его преосвященством сговорились так: сорок рублей в месяц жалованья и комната при архиерейском дворе на двоих. По улице не идем, а летим,— веселые, радостные, думаем: «ну, теперь не пропадем».

Рассчитались с меблирашкой и с корзиночками нырнули в архиерейский двор.

А нам навстречу: «Его преосвященство раздумал принять вас».

— Как так?— спрашиваем.

— Не можем знать. Не приказано впускать.

— Пойдем,—говорю,—Генашка, к самому,—тут что-то не так.

Вваливаемся вместе в покои. В прихожей — дьякона, попы, псаломщики. Говорят шопотом, труся. На стенах ничего, кроме иконы с лампадкой. Пахнет маслом деревянным, ладаном. Больничные окна занавешены тяжелыми шторами; все — как в хорошей частной больнице. Тихо и смиренно. Мы смело поставили свои корзинки и говорим служке, чтобы доложил его преосвященству о новом певчем,— о том, которого он взял сегодня.

Служка отвечает:—«Подождите, его преосвященство сейчас сам выйдет».—Смотрим: выходит старичек из покоев, худенький, высокий, борода с проседью, взгляд суровый. Благословил всех, и вдруг в нас глазами впился. И точно чертей увидал. Испугался. Закрестился.

Мы — к нему.

— Ваше преосвященство, — говорим, — нас не принимают.

— Нет, свет, нет, не надо, — залепетал он, пятясь в покои и беспрестанно крестя нас.

Дверь в покои мягко закрылась, и мы остались в прихожей, окруженные попами и дьяконами, начавшими рассматривать нас, как диковинку.

— Знаешь что, Генашка,— говорю ему, — дело, брат, сорвалось, давай хоть красненькую сорвем с его преосвященства.

— Слушайте, друг, — обращаюсь к служке, — скажите его преосвященству, чтобы дал нам на расходы-то. Ведь истратились через него.

Чтобы отделаться от нас, вынесли нам десять рублей.

Бывают в жизни такие случайности, которые ни один умник не придумает.

Идем это мы от архиерея и рассуждаем, где причина, что сначала он принял нас, а потом чуть не выгнал. Разрешили так: когда мы возвращались за вещами, нас, повидимому,

кто-нибудь на улице подслушал и донес архиерею, что мы — люди подозрительные. Других причин быть не могло.

Подходим к меблирашке и — только ногу на порог, — откуда ни возьмись Андрей, что в Таммерфорсе, на конференции был

— Ярцев! — кричит.

— Андрей! — радостно бросаюсь я.

— Как хорошо, что мы встретились!

— Я все знаю, — сказал он. — Я сейчас вернулся из Перми. Теперь мы организацию поставим. Вы здесь остановиться хотите? Напрасно. Езжайте к Патрикееву, вот его адрес, и скажите, от Андрея. Завтра я буду у вас. Нанимайте извозчика и поезжайте

Мы воспрянули духом.

Через два дня, по поручению Екатеринбургской организации, мы выехали в Нижний Тагил, везя с собой литературу. Там мы должны были поставить дело организации рабочих нижне-тагильского чугунно-плавильного завода и рабочих-шахтеров. Для остановки нам дали адрес зубного врача Залкинд. Залкинд была женщина, а ее муж был местный партийный работник, интеллигент.

Нас встретили так же, как некогда встречали мы приезжих партийцев: приезжие талантливей и умнее местных.

Поселились мы на Гальянке, у портного, в бане, которая стояла на огороде и топилась «по-черному», т.-е. дым выходил не в трубу, а в дыру в стене, затыкавшуюся тряпкой. Днем мы сидели в бане, как отшельники, читая книги и готовясь к лекциям, а вечерами ходили по кружкам рабочих. С вечера топили нам баню, чтобы ночью тепло было. Баня была черная и всегда угарная. Но было не до роскоши. Главное, мы были в одиночестве и нас мало кто знал. Провалиться в заводе ничего не стоило. Все друг друга наперечет знали и редко кто наезжал туда. Пришлых рабочих тоже не было; все местные уральцы, поссесионеры [1]). Большинство рабочих имело свои домики, лесные делянки и небольшие участки земли, даваемые заводом. Рабочий был невольно прикреплен к заводу. Своей лошаденкой он подвозил дрова, уголь и руду, своей силой плавил чугун. Он мало

[1]) Поссесионер — бывший крепостной завода.

был похож на рабочего фабрики или завода центральной России. Это был полурабочий, полукрестьянин. И характерно: тяжесть жизни острее чувствовали не молодые рабочие, а пожилые. Когда мы впервые явились на собрание, нас поразили бородачи. Что ни лицо, то тип. Бородатые, рослые, слегка напоминающие украинцев, — да предков их, говорят, и вывез на Урал, к Демидову, Петр Великий из Украины. Нижне-тагильский завод принадлежал Демидову, а впоследствии некоему Яковлеву, жившему заграницей. Вообще, все владельцы заводов болтались или в Петербурге или заграницей, и только деньги получали, как прежние помещики, с имений, а делом не занимались. Заводы устарели, страдали от примитивной техники. Лишь дешевыми рабочими руками да колоссальным природным богатством держалось производство.

— Вот земли бы добиться, — мечтали старики. — А то у нас ее как кот наплакал, а у завода — девать некуда.

Земельный вопрос для рабочих был важнее рабочего вопроса, как такового. Уральская земля — не чета другим землям. У нее — сверху лес и хлеб, а внутри — золото с платинкой. Не один из рабочих уходил тайком «счастья искать»: землю рыть, золото добывать. Кому счастливилось, «хищником» [1]) становился, в руках забой и лопата, за поясом нож да револьвер. Не сдобровать — его поймают; не сдобровать, ежели и он поймает.

Работа «хищника» — игра картежная. Попал на хорошее место — загребай золото, не то — роет, роет, только земля бурая, камень упругий и — ни блесточки. Деньги, время, сила убита. А соседу, неподалеку золото само в руки далось. Искушение! Ночью работают. Лес кругом, горы небольшие, озера зеркальные. До жилья — пушечного выстрела не услышишь. Кто узнает, что человека убил, да еще «хищника»— преступника? И крадется свой к своему и вонзает в спину нож острый, заберет место и золото.

В полицию никто не заявит о пропаже человека, потому — сам на такое дело пошел, что убить может. Еще участниками сочтут и засудят, что во-время власти не донес о том, чем занимался убитый. Так и гибнут люди бесследно в глуши Урала.

---

[1]) Хищник — кустарь-золотоискатель, украдкой на чужой земле добывающий благородный металл.

Рабочий — везде одинаков. Везде он ценит в своих руководителях смелость, остроту слова и простоту жизни. Ради успешности работы в нижне-тагильской организации мы стали ходить к рабочим не только для того, чтобы проводить собрания, а просто так, по обывательски, в гости. Зайдешь вечером, глядишь, сосед приплелся, а там — еще кого-нибудь кликнут, тарыбары; смотришь: чай, за чаем — разговор. Начнешь рассказывать о столичной жизни богачей и рабочего класса, о его борьбе за свою жизнь, о жестокостях правительства к рабочим. Коснешься рабочего класса вообще и его значения в жизни, а как заговоришь о нужде рабочей, о его болестях, о семейном бытии, да о трудностях женщины в домашнем хозяйстве, да как это сдобришь все юмором, да посыпешь насмешкой, а в заключение гвоздь забьешь, что, де, и мы, рабочие, тоже люди, тоже жить хотим, да и не глупее бар-белоручек, — тут тебе рабочий — весь твой.

— Ты, — говорит, — наш насквозь, жизнь нашу разумеешь. И не знает, куда посадить тебя.

Попадешь иной раз к обеду:

— Садись, Аркадий, запросто. Только извини, брат, — простая пища.

— Не беспокойся, — говоришь, — не разносолы и мы ели.

— Да нешто я не знаю, — свой человек.

А сам моргает жене, чтобы та почище что-нибудь поднесла. Сядешь за стол и — пошел уписывать за обе щеки похлебку с луком. И есть не хочется, и не дюже вкусно, а ешь, — нужно. Откажись, — человека обидишь. Подумает: «О нужде рабочей сладко поешь, а его хлебом-солью брезгаешь. Барин!».

Своей простотой, рабочим языком, панибратской жизнью, за словом в карман не лазили, — понравились мы нижне-тагильцам. Дело преуспевало. Организация крепла. Центр создали из рабочих. Говорим рабочим: — «Берите сами свою партию в руки, на других не надейтесь». Другие с тобой до поры, до времени, а пробьет жестокий час твоей борьбы с врагами, они от тебя отвернутся. Не по дороге им с тобою. Прямолинеен ты, а другие изгибы, извивы любят. Их жизнь, что цветок тропический, в какую оранжерею ни посади, расти будет, лишь тепло да свет были бы. А твоя жизнь — дуб кряжистый, нигде, кроме свободы, не распустится.

Одиноко рос рабочий, угрюмо, без ласки. Учить никто не хотел, а работать заставляли. В землю загнали, и там, во тьме, рыли рабочие по всем направлениям, добывая золотые блестки — золото, лоснящийся уголь, медь и железо. Неохотно уступала им свои богатства земля-матушка. Упорствовала. Заливало шахты, огнем сжигало, пугало. Но не запугало. Одни умирали, другие шли на смену. И то, что миллионы лет было схоронено в земле, рабочие вытащили наружу и, не улыбаясь солнцу, зажгли заводы, осветили тьму ночи, убрали золотом животы и руки богачей, окутали землю ветками чугунных рельс и, тяжело вздыхая, прокляли этот мир.

— Тяжела и страшна эта жизнь, — сказала раз жена Залкинд, кутаясь в теплый платок и ежась на диване, как бы от сильного холода. Холод этот был у нее внутри. Молодая, красивая, она была заброшена в захолустный уральский завод. Когда бы ни вышла она на улицу, — все завод и завод. Днем дымный и закопченный, а ночью, — как дьявол глазастый, огнедышащий, гремящий и клокочущий расплавленным чугуном. Его словно боялись на горе построить, и стоял он в котловине, между двух возвышенностей, окраин рабочих, и в темени, как пожар, заливал окрестность заревом. Это было солнце рабочих, которые вылезали из шахт только ночью. Это был кошмар для лежавших на диване.

— Я одного не пойму, как это вы могли бросить Петербург, где свет, блеск и жизнь, — и приехать сюда, в эту скучную глушь. Здесь нет людей.

Затосковал Генашка. Надоела ему наша баня. Чуть свободная минутка, к Залкинд бежит. Чисто у нее, уютно, просторно и красиво. Есть с кем душу отвести. Молодая женщина скучает, в столицу рвется. Общий язык нашли — красоту. Оба были с голосами; дуэтом пели. Замечаю: страдает мой Генашка, а сказать прямо, что ему надоело все, смелости не хватает. Да и сам чувствую, что с его голосом и уменьем петь не с рабочими ему дорога, а иная. Сцена его манит. Артиста слава.

— Думаю в Екатеринбург перекочевать, — говорит он мне. Ссылка здесь.

В сравнении с центром, жизнь в Нижнем-Тагиле напоминала отчасти ссылку. Завод — заводом, а местечко — местечком.

Скучное, пустынное. Выглянешь днем из окна бани: пустошь огородная, далеко за ней гора шапкой, елью покрытая, зеленая, на снегу торчит. На улице—ни души, одни коровы прогуливаются. Сидим, бывало, в своей дыре, и такая вдруг тоска возьмет, что так и хочется кинуть все и бежать... Но... нельзя! На посту стоишь, пока не снимет разводящий, хоть умри, а стой. И многие умирали, умирали разной смертью. Один ее нашел в открытом бою, с оружием в руках, другого она подкараулила безоружным, третий в тюрьме богу душу отдал. Сибирская тайга не мало схоронила. А чахотка? Иваненко умер от нее, в Крыму умер, у моря, что лазурными волнами било в бока Ялты. И нас чуть-чуть не настигла неизбежная.

Вернулись мы как-то в свою баню, после топки, и спать завалились. Еще в постели почувствовали, что угаром пахнет. Все встать да встать — и уснули с мыслью, что встать надо и дверь открыть—проветрить. Генашка к стене лег, я—с краю.

Открываю глаза,—все кружится и голова свинцовая. Хочу встать и двинуться невмоготу.

Силой воли столкнул себя с постели на пол и сознание потерял. Очнулся, дверь открыл, к Генашке бросился,—лежит бледный, глаза открытые, словно стеклянные и смотрит ими жутко.

— Геннадий! — ору.

Сил не хватило с кровати стащить. Уткнулся в стену парень и как ледяной стал. Я побежал через двор к портному; и снова упал, уже у него. Очнулись мы оба на дворе. Мороз—воробьи мерзнут. А нас положили на снег голова с головой и обе головы водой обливали. Когда мы пришли в себя, нам стало смешно, а в бане жить уже не хотелось.

Генашка тотчас же уехал.

Расставаться было трудно; привязались друг к другу, полюбил я его, как молодого способного парня. Своими песнями он делал не меньше, чем какой-нибудь оратор. Кончится массовка, Генашка дубинушку затягивает, как хватит, аж лес дрожит, воодушевит всех, зажжет — и уходят бодрые. Пошли мы после Тагила разными дорогами. Его екатеринбургская организация оставила в городе, использовав, как певца, устраивая концерты

для усиления материальных средств партии, а меня бросила, как агитатора по заводам. Когда налегке в путь пускаешься, еще ничего, а с грузом — с литературой — много возможностей в тюрьму попасть. Но каждому видно на роду написано, что с ним произойдет — и, уж как ты ни финти, а случится то, что должно случиться. Выбрался я как-то в Невьянский завод с двумя чемоданами литературы и прокламаций по поводу Государственной Думы и выборов в нее; ехать надо было частью по железной дороге, а тридцать верст — на почтовых. Ни место не знакомо, ни люди, да и обычаи не те, что в России.

Увидали меня ямщики в ямщицкой, когда лошадей просил, да и говорят:

— Поедете, барин, в чем есть, али доху достанете? Морозно сегодня.

— Нет, — говорю, — у меня дохи.

— Холодновато будет в этой одеженке-то. Студенты, знать, будете!

— Да. На практику, в завод еду.

— Эй, вы, заливные! щелкнул ямщик, хлестнув пару, казалось, замороженных кляч. Рванули они с места, только снег столбом, да колокольчик-шатун под дугой загремел.

— Через час на станции будем,— кинул ямщик,— сменим лошадок и — дальше.

Дорога до завода малонаселенная; изредка деревушка встретится, а то все небольшие горы, вроде кочек полевых, ельник, покосы. Все засыпано глубоким и голубым, искрящимся на солнце, снегом. Блестит, так что глаза слезятся. Мороз безветренный, хлесткий, настоящий сибирский. Меня в моем пальтишке и штиблетах до костей пробирало. Чтобы не замерзнуть, я брался руками за задок, да бегом. Побегу, побегу — сяду; так и доехал, не замерзнув.

В Невьянский приехал под вечер. Заводишка небольшой, весь на виду. Сразу заметили, что новый человек прибыл. Остановился у сына священника, тов. Васи. Быстро спровадили часть литературы, а остальное я должен был в Алапаевку отвезти, где была историческая алапаевская республика. Вечером этого дня я собрал местную организацию. Меня, как и в Нижнем

Тагила, поразило то, что преобладающим элементом организации были пожилые рабочие.

— Молодежь у нас баловством больше занимается,—виновато говорили старики.

Слушали доклад охотно, народу рабочего в хату набралось довольно; все задавали вопросы, что надо делать, чтобы в конце-концов сломить правительство Николая. Вопросы экономические тут были уже на втором плане. Близость Алапаевского завода, в котором рабочие в 1905 году учредили свою республику, примечательно отражалась на невьянцах. Они уже боролись не только словом, но и делом. Среди Невьянской администрации было, между прочим, особое лицо, которое организовывало отпор действиям местных рабочих.

И когда это лицо сидело у себя дома у окна, кто-то из рабочих подошел и через окно уложил его на месте, незадолго до моего приезда. Характерно: чтобы не раздражать рабочих, местная заводская власть не придала этому делу гласности и не пыталась найти стрелявшего, зная что он из рабочих. Рабочие невьянские были боевые.

На другой день рабочие завода, узнав, что в Невьянск приехал «студент-оратор», потребовали устройства общезаводского митинга. Интерес к свободному слову «студента», нарочно присланного из Екатеринбурга, был столь велик, что даже местные лавочники и те просились у рабочих, чтобы им позволили быть на собрании. Назначили место и время.

Администрация не допустила, и решила арестовать «студента», т.-е. меня. Так как все более или менее революционно настроенные рабочие завода им были известны, то часа за три до собрания местная власть — в лице пристава, его помощника, и нескольких человек стражников,—запрягли лошадей в розвальни и поехали с обыском почти из двора во двор. Рабочих не трогали, искали только «студента».

Таким образом, собрание было сорвано. Меня решили во что бы то ни стало спасти. Из дома сына батюшки меня отправили в церковную школу и просили смотреть все время в окно. Было условлено: как только увижу я, что мимо едет лошадь, запряженная в сани с угольной кошелкой, моментально выскакиваю и бросаюсь в кошелку, в которой меня отвозят в надежное место.

А товарищи рабочие все время следили, куда местная власть путь держит — по обыскам.

Сижу в школе. Тут же учительница и еще кое-кто, кто в курсе дела, и страшно волнуются. Они тоже ждут обыска, но боятся не за себя, а за меня. У меня настроение поганое, потому что сам не в состоянии скрыться, ибо место незнакомо; все происходит не в большом городе, а в местечке, где все люди друг друга, как облупленного, знают.

Гляжу в окно,—жду. Ночь лунная, белая. Как днем, все видно.

— Едут,— говорят мне, — готовьтесь.

Я, не долго думая, выскочил из школы и, как только сани поравнялись с церковью, — бултых в корзинку.

— Залазьте под сено, — кто-то произносит.

Я зарылся в сено.

Привезли меня к рабочему, в доме было очень много народа, и все, очевидно, знали, что меня хочет арестовать власть и не хотят выдать меня ей рабочие.

— Теперь вам нечего бояться, — встретили меня, — вы вне опасности. Сюда уже не придут. Нужно только завтра же отправить вас на чугунку.

Дело было в субботу. Утром узнали, что на почтовую станцию дали знать: в случае, придет студент нанимать лошадей, задержать его.

У застав, по дороге в Алапаевку и на железнодорожную станцию Невьянск, выставили стражу. Больше дорог не было: лес да горы. Рабочие призадумались.

— Стой! — сказал один,— есть выход.

День был базарный. Из недальних деревень приехали крестьяне, кто с чем. Пошли на базар, нашли крестьянина, своего, видно, с парой лошадей, из деревни, где пересадка почтовая, и сговорились с ним, чтобы он меня довез до станции. Меня одели в пимы, в крестьянскую доху, шапку с рукавицами дали, положили в сани чемодан с литературой и я с крестьянином,— он впереди на одной лошади, я сзади на другой, — как мужичек, выехал спокойно из завода, не внушив никакого подозрения стоявшим у заставы стражникам.

До деревни крестьянина доехали благополучно, но дальше он везти меня отказался, ссылаясь на то, что лошади такого

Инв. 3459 25247

перегона не вынесут. И мне ничего не оставалось, как итти на почтовую станцию нанимать почтовых. Разделся я у него, взял свой чемодан и пришел на станцию.

В большой почтовой избе я застал лишь одного ямщика, пожилого мужчину, который сидел на табурете и подшивал пимы.

Я поздоровался и попросил поскорее дать мне лошадей до станции, чтобы успеть к поезду.

— А вы откуда будете, барин?— вдруг спросил меня ямщик, не оборачиваясь.

Я насторожился. Вопрос был неуместен.

— Я из Алапаевки, от отца Александра еду.

— А-а, из Алапаевки. Спешить некуда. Еще нагуляетесь. Вы, вот, пройдите-ка в приезжую, чайку попейте, а я тут сбегаю сейчас, в одно место. Торопиться некуда.

Он говорил спокойно и, мне показалось, насмешливо. Он замышлял неладное. Он надел шубу, и я видел в окно, что он пошел на деревню.

«Ну, думаю, за властью пошел, чтобы арестовать меня». Бежать некуда. До станции верст восемнадцать, мороз градусов под сорок, дороги безлюдны, кругом снег, лес, горы. Пойдешь— замерзнешь, да и пойти-то не дадут, тут же дорогой сцапают. И чемодан с литературой деть некуда. Попался, как кур во щи. Были со мной кое-какие документы, сжевал и выплюнул.

Сижу и жду, представляя себе картину, как меня сейчас арестуют, куда нибудь посадят, потом повезут в город, опять в тюрьму и — новое дело. Смотрю, ведет мой ямщик человек шесть каких-то мужиков, среди них большой бородатый старик вроде старосты. Все идут в ямщицкую.

Так и решил: идут арестовывать.

Вошли.

— Я и говорю, Яфим, как только студент приедет, так значит и арестовать яво приказано. Он во, во здесь будя. Больше ему некуда деваться.

— А вот этого-то барина как же — из Алапаевки то, яво же отправить надыть.

Бородатый заглянул в приезжую и, должно быть, увлеченный охотой на студента, совершенно не обратил внимания на меня.

— А ты яво с Митькой отправь, а сам сиди да жди, он скоро будя.

Весь этот разговор я вначале принял за шутку надо мной, а когда они ушли, я скорехонько торопить стал Яфима, чтобы он запрягал.

Пришел молодой парень Митька, с которым я и выехал.

Дорогой он рассказал мне, что в Невьянский завод приехал какой-то студент из самого Петербурга, привез народный манифест о свободе, а его велено арестовать, если он появится на почтовой станции.

— Вот темнота наша, — добавил он, — хорошего человека и арестовываем сами.

— Ну, а ты бы не арестовал, если-бы он тебе попался, — спрашиваю у него.

— Я то, — ухмыльнулся Митька, — я бы у яво манифест попросил, а сам он, — иди куда хошь. Нешто таких людей сажают?

— Эй, вы, ну-ли, что заснули, — махнул кнутом.

И, свистнув, понесся. Навстречу ехали крестьяне, возвращаясь домой с базара. На мне была большая казацкая шапка с белым верхом и, едучи на паре почтовых, в хороших санках я крестьянам казался, вероятно, властью: все они раскланивались.

В другое время, может быть, этого бы не сделал, а тогда горячая кровь была, молодая. Понравился мне Митька-ямщик.

Говорю ему: — На-ко, друг. Почитай на досуге. — И дал пачку прокламаций.

Митька обернулся ко мне лицом и сказал:

— А, ведь, я знал, что — вы тот самый и есть, кого арестовать велено.

И мы с ним аккуратненько стали кидать в сани едущих крестьян и на дорогу прокламации.

После поездок в Нижний-Тагил и Невьянск меня оставила организация в Екатеринбурге. Генашка поступил в церковный хор певчим; ему надоело жить за счет организации; я остался партийным профессионалом. Жили мы у Патрикеева, занимая одну комнату. Сам Патрикеев участия в жизни организации не принимал, но дом его был открыт для всех партийных работников.

Сюда приходили все, кому было не лень. Дом был вроде проходного: бесхозяйственный, особенный. Хозяин никогда

дома не бывал: днем на службе, вечером в клубе, ночью — где придется. Избегал дом. А жена его — красивая, молодая, но больная, — ничем не интересовалась. Запрется в своей комнате и сидит, на свет не выглядывая, бледная, заплаканная, с одинокими черными думами. Она безумно любила мужа, но зная, что ее болезнь мешает ей его привязать к себе, сильно страдала. Муж тоже любил ее и крепко любил; другой раз придет домой, увидит ее страдающую, приласкает, но холодной лаской, братской. А потом опять скроется. Приготовит прислуга обед, подойдет время обеда, — ни хозяина, ни хозяйки, а кто из партийной публики есть в доме, тот и кушает. Прислугу Аннушку распропагандировали так, что она принадлежала больше организации, чем Патрикеевым. В доме — холодно. Комнат много, а везде беспорядок: где лежат книги, где белье грязное, — как сняли, так и оставили, — остывший чай с мухами в стаканах, которые стояли на подоконниках, на столе и даже на раскрытых книгах. Куски колбасы и корки хлебные со стола не убирались. Только приберет Аннушка, — придет кто-нибудь и снова насорит.

И тихо в доме никогда не было, — вечно народ, разговор, споры. Люди сходились однородной организации, а тактика намечалась разная: одни говорили, что надо итти в Думу и внутри нее вести работу, способствующую организации масс, а другие утверждали: долой Думу, нужно усиление подпольной работы и подготовка к вооруженному восстанию.

Приехавший из Мотовилихи партийный работник, рабочий Михаил и его жена, гимназистка Маруся-татарка, — боевики, — занялись специально организацией боевых дружин и добыванием оружия. Другая партийная старая работница Маня, все время стояла на том, что боевыми дружинами с правительством не справиться, а вооружить всех рабочих у организации средств нет.

— Мы их достанем, — твердил Михаил.

Обдумывались планы экспроприаций, чтобы достать средства для усиления организации.

Другая часть товарищей тоже усиливала организацию материальными средствами, устраивая концерты.

Один такой концерт, при ближайшем участии Генашки, был дан в Дворянском Собрании. Сбор был большой, успех

крупный, он-то и определил Константинову дальнейший путь его жизни.

— Я партийными делами, Аркашка, больше не занимаюсь. Кончено. Хочу служить только искусству.

Партийная жизнь, всегдашние споры, безалаберность быта, быта кочевников, разногласия, — все это отшатывало его от организации рабочих. Его тянул блеск театра, слава подмостков.

— Ты — не рабочий,— говорили ему, когда он, не скрывая, высказывал мысль, что больше в организации работать не может.— Ты — типичный интеллигент, индивидуалист.

— Нет, врете, я рабочий! — сопротивлялся Генашка. Я больше рабочим принесу пользы своим голосом, чем распространением прокламаций.

До хрипоты спорила с ним Маруся-татарка. Эта женщина была сильна, как мужчина, и любила бороться: придет к Патрикееву, облапит мужчину и волей-неволей заставит с нею бороться. И часто валила его на пол. Муж ее, Михаил, был ей под стать: медведистый, лохматый, точно вырубленный. Лицо его никогда не улыбалось, глаза были злые, и насупленный низкий лоб говорил за то, что этот человек никогда не знал нежной ласки матери. Каждое его слово было, как брошенный тяжелый камень. Говорил он всегда о бомбах, оружии и вооруженном восстании. С рабочими был связан кровью и из всего им прочитанного хорошо помнил одно: «дело освобождения рабочих, — дело рук самих рабочих».

Интеллигенцию ненавидел.

— Им с кадетами дорога, а у рабочих им делать нечего, — говорил.

Кадетов же он считал злейшими врагами, как партию снотворных порошков, усыпляющих красивыми словами пробуждавшееся народное сознание. Знал кадетов не по теории, а на практике, — по собраниям.

Когда кадетская партия увидела, что сидеть только в Питере и торчать на глазах правительства Николая, убеждая отдельных членов правительства в необходимости конституционной монархии с кадетскими министрами, — дело не яркое, и что такой работой

не создашь себе особой популярности, она решила рассыпаться по городам, агитировать, тем более, что это им не возбранялось, и за это их ни оптом, ни в розницу не арестовывали, не сажали и не ссылали.

Вынуждала их на агитационную работу подпольная с.-дем. рабочая партия, все укреплявшаяся и усиливавшаяся. Кадетам надо было итти в цареву думу, это была еще давнишняя мечта. А с.-дем. критиковали вкось и поперек думу, говоря: не ждите от нее ничего путного.

От кадетов выехали самые лучшие силы — Родичев, Милюков, Кизеветтер. Последний посетил Екатеринбург. Собрание было устроено в театре. Народу собралось — театр ломился. Послушать пришли не только барышни, гимназисты и студенты, но промышленная и торговая буржуазия и даже рабочие. Пожилой человек, европейская известность, образованный, умный, он красиво стал говорить о думе, ее значении и о кадетской партии. В его речи не было ни одного резкого выражения: тактичность, корректность, мягкость. Говорил, точно масло лил. Зал рукоплескал.

Только рабочие, сбившись кучкой, угрюмо молчали. Речь Кизеветтера им нравилась, но программа кадетов была так тонка, что когда ее мозолистые мозги рабочих начинали обдумывать, она рвалась, как гнилая паутина.

— Уж ежели землю отбирать, — так отбирать без выкупа. Уж ежели свобода, — так свобода прямая, без переулков.

Не одного меня взбудоражила тогда речь кадетского оратора. Многие из нас чувствовали необходимость выступить с критикой программы и тактики кадетской партии, но боялись,— не полиции, что была тут же, а знаний Кизеветтера, его образованности.

Лишь буйная молодость, неудержимая, гневная и подчас дикая, — заставила тогда меня выступить против европейской известности.

Я попросил слова. Взобрался на театральные подмостки.

Полицейский до этого сидел, а при моем появлении встал. Публика уперлась в меня глазами. Чутьем догадывались, что я— противник. В передних рядах пренебрежительно улыбались: «Туда же лезет!».

Похолодело под сердцем. Хмелем гнев ударил в голову. Словно не аудитория была в театре,— а враги. Даже в рабочих

рядах сомнение было, выдержу ли? — Красивую девушку заметил, жгучую, как итальянку. Одобрительно глядела. Глазами ободряла.

Вспомнил, как говорят наши партийные товарищи в столицах, — тихо, не спеша, обдумывая каждое слово.

Начал. Ехидничать уже давно научился. Отдал должное блестящему таланту Кизеветтера. Себе отступление сделал, что рабочий — я, немного знаний пустил в ход, и смело, словно университет кончил, чужим остроумием рассмешил, а потом, как долго сдерживаемый горячий конь, стал бросать собранию те смелые пламенные мысли, что рождались только в подполье, чего никогда не мог сказать ни один кадет.

И, если в одном случае человек идет за красотой, то в другом — за смелостью и силой.

А кадетская красота без смелости и силы — все равно, что поп без обедни.

И мне апплодировали не только рабочие, но весь зал, вся молодежь. Лишь полицейский остался недоволен и закрыл собрание.

Мое удачное выступление против кадетов от имени рабочей с.-д. партии создало мне в Екатеринбурге небольшую известность. Екатеринбуржцы говорили, что я не хуже их Андрея, которого все знали по октябрьским дням (1905 года). После этого организация дала мне Верхне-Исетский район и казармы. Связь с солдатами уже завязывалась.

Доработались мы в Екатеринбурге до тех пор, пока моего Генашку не арестовали. Арестовали его и других на массовке первого мая. Собрание устроили, помнится, возле Шарташского озера, в очень удобной местности. Собрание было небольшое, но пришла чуть не вся организация, за исключением тов. Андрея, Маруси-татарки и Михаила, которые были в отлучке. Расположились у подошвы пирамидной горы, созданной природой из облизанных волнами камней, очень похожих на приморские гальки, только большей величины. Эти глыбы-камни напоминали огромные сплюснутые яйца и лежали друг на друге — большей величины внизу, меньшей на верху,— ярусов этак на двенадцать к небу. На головке горы камень был, как площадка, и весь

исписан и иссечен годами и фамилиями лиц, взбиравшихся на макушку. С макушки был виден далеко-предалеко лес зеленый, и, потому, что видно было только верхушку леса, чудилось, что не лес это, а поле, и на нем возвышенности — горы, где — черные, как та, с которой смотришь, где — зеленые, ельчатые.

Озеро чуть блестело, как начищенная никкелевая пластинка. Лес, по направлению к озеру, стоял на болоте.

Собрались мы и ждем, когда еще подойдут. Организована была массовка слабо, без любви к делу, не так, как у нас в Туле. О конспирации и не думали. Разговариваем, шутим, на гору лазим и всю ее усеяли, как птицы. В самом лесу было сыро, да и не совсем еще полно деревья распустились, — на Урале весна поздняя.

Смеркалось. Откуда ни возьмись, словно из-под земли, выросли казаки. Заметили их мы, когда уж они всю гору окружили и морды лошадиные в деревья показались. Это было так неожиданно, что все остолбенели. И бежать некуда: открытым местом был только болотистый лес к озеру.

— Ни с места! — крикнули казаки и стали замыкать кольцо. Винтовки держали наготове.

Вижу, сторона к болоту открыта, камень большой лежит. Говорю Генашке:

— Бежим, на пролом!

И с одним из рабочих под камень залегли. За нами еще. Поползли. А потом сразу приподнялись — и в лес, в болото.

— Стой! — закричали вслед. И за нами. Но ехать нельзя: темень, деревья, болото. Раздался выстрел, и мы легли в воду. Все стихло.

— Теперь пойдемте, я дорогу тут знаю, — сказал рабочий.

Шли мы верст пять в полной темноте, лесным болотом, обходя поляны, проваливаясь по пояс в воду, спотыкаясь на пни, падая и снова подымаясь. Не попадись нам опытный вожатый, пропали бы. Всего нас ушло человек восемь, остальные были арестованы. Я прибрел домой весь мокрый, в тине. Прозяб, зуб на зуб не попадает. Сейчас же Патрикеевы затопили мне баню,— в Екатеринбурге почти в каждом доме своя баня,— я выпарился, выпил стакан водки, закусил — и хоть бы что.

В эту же ночь я написал первую прокламацию, которую тотчас размножили и утром распространили по городу.

Большинство арестованных освободили из участка, часть через несколько дней, а Маню и моего Генашку отправили в тюрьму. Тюрьма была за городом, против татарского кладбища.

Плыла в полном разгаре весна. Было зелено, тепло, ароматно. Ляжешь под голубым небом Урала на траву, закроешь глаза и — слушаешь, как птицы распевают.

В это время с жгучей итальянкой познакомился, — это была красавица Шура, — еврейка. Красива была до чортиков. Серьезно, по-мещански об устройстве своей личной жизни не думала. Понравились ей люди, которые звали к чему-то далекому, совсем непохожему, что в жизни было. И сами эти люди казались ей иными, дерзкими, смелыми.

— Вы, Аркадий, кто? — спрашивала она меня.

— Рабочий.

Я с женщинами не умел говорить и стеснялся их, да и некогда было, по правде, — все занят был революционной работой. А с нею слова нашлись. Я говорил о жизни окружающей, о ее ненормальностях, и тут же рисовал картины будущего.

Ей нравилось. Я ей говорил не то, что она слышала от других мужчин. Она была красива, но я не говорил о ее красоте. Ее красоту я считал буржуазной, встречу — случайной и ненужной и в то же время меня тянуло к ней.

Мы часто встречались. Часто раннее утро города заставало нас на улице — и я все говорил, говорил и говорил о нашей борьбе. Не забывал я и Генашку. И нередко заходил я вечерами на тихое татарское кладбище и слушал, как Генашка пел в окно: «Сидит за решеткой орел молодой». Так как Геннадий был певчий церковного хора, что, с точки зрения жандармов, было несовместимо с званием социалиста, то его, как случайно попавшегося на митинге, продержали неделю и освободили.

Вскоре после этого мы уехали с Урала обратно в Тулу.

Как недолго ни были мы на чужбине, все же она наложила на нас известный отпечаток; мы были, как об'езженные кони, — и тише и серьезней: опытней.

— Учиться мне надо, — говорил Генашка, — иначе я не буду ни певец, ни рабочий. В партии я быть не могу, — душа не лежит, грызня в ней надоела, да и бесполезен я.

Но жизнь поступила иначе: она снова загнала его в завод и он еще несколько лет принимал участие в нашей организации, занимая в ней скромное место.

Во мне тоже просыпалось новое, что когда-то давно было в тюрьме, — писать хотелось. Что писать, я не знал, но желание было сильное. Влекло к книге, и именно к беллетристике. В это время над умами читающей публики царили упадочные настроения: пугал «Красным смехом» Андреев и всеотрицающий Арцыбашевский «Санин» поднимал голову. Подавленные везде восстания рабочих, солдат и матросов, виселицы и расстрелы борцов за свободу так окрылили царедворцев николаевского правительства, что они разогнали первую говорунью-Думу и, убедившись, что народ не поддерживает ее с оружием в руках, назначили вторую, как подсобный аппарат, могущий пособлять правительству. После этого большая часть интеллигенции и неустойчивый элемент из рабочих начали разочаровываться в революционном движении, бросились в индивидуализм, героический анархизм и скептицизм и во всякие другие «измы». А перед рабочими стал вопрос: где путь, на котором можно победить правительство?

Пропаганда и агитация были, восстания и стачки были, парламент-Дума была, а самодержавие — попрежнему цело и еще свирепей топчет крестьян и рабочих. Заглянули в философию: а так как философских направлений было много, то, в зависимости от класса, усваивалась та философия, которая больше всего отвечала классовому миросозерцанию искателя.

Несложные натуры, ошарашенные реакцией, нашли утешение в словах Андреева «так было, так будет», и — что гноить свою плоть в тюрьме из-за какой-то политики не стоит: так сказали Санины. И только в низах рабочего класса, в самой что ни на есть гуще, далекой от всяких лукавых мудрствований, рос все тот же проклятый вопрос: как сделать, чтобы было лучше?

Неудачи борьбы рабочий об'яснял просто: правительство Николая сильнее нас, — надо нам стать сильнее правительства. Надо организоваться покрепче и готовиться к решительному бою, с оружием в руках. Разогнанная первая Дума говорила, что итти во вторую нет смысла, все равно разгонят, а если не разгонят, то она ничего не добьется для крестьян и рабочих,

раз цело помещичье правительство Николая. Так мыслящих было не мало.

Прежние «экономисты», хорошо знавшие теорию и философию, знавшие, что долго ли, коротко ли, но рабочий класс победит, ставши активистами в движении, говорили: — рабочий победит, это его историческое назначение, но ему надо организоваться, постепенно завоевать позицию за позицией в самой думе. И с этим шли в думу и звали туда всех рабочих.

Когда я вернулся с Урала в Тулу, и мы, прежние работники-зареченцы, снова собрались у «мамаши», сразу почувствовалось, что время пришло другое.

Ефима Баташева уже не было. Он не выдержал наступившей реакции, взял револьвер, подкараулил своего соседа, жандарма Коновалова и всадил ему в голову пулю. Военно-полевой суд осудил его на смертную казнь. Положение отца Ефима и его средства помогли им пересмотреть дело. В новом составе суд присудил Ефима к четырем годам каторги. Прокурор остался недоволен; снова пересмотрели дело, и в третьем составе суда Ефима приговорили к бессрочной каторге. С этим он и ушел в кандалах.

Его друг Василий Камаев, как бы мстя за друга, отдался всею душой партийной работе, заняв видное положение в организации. «Барон» попрежнему на все плевал и жил своим баронским миром, никого в него не впуская. «Аннушка», сын Стрекопытова, как гордый Байрон, над всеми посмеивался, а его брат стал работником. Павел Салтыков, побывавший в Шуе и Самаре, по старому называвший асфальт «алисфальтом», был неизменен, только опыта революционного надбавилось. Читать он не любил. «Фридрих Великий», попавши на Оружейный, оделся в белый китель и все время помышлял о женитьбе, довольный тем, что вырвался из самоварщиков. Варя Голюева обзавелась семьей и стала просто семьянинкой, грустно поглядывая в окно на улицу и смущенно закрываясь рукой при виде прежних товарищей. Ее брат Александр тоже поступил на Оружейный и, выучившись петь, не принимал в работе того активного участия, которое принимал раньше.

Люди были те же, но уже с трещинами. Появились новые работники. Из Баку в Тулу вернулся, школы «экономистов»,

Михаил Федоров. Он был необыкновенно даровитый оратор, прямо-таки блестящий. Талантливыми речами он об'единил вокруг себя многих оружейников и частью патронников. Маркса все три тома он знал, как азбуку, а Плеханов был для него евангелием. Ценя в себе ораторский талант и силу своих знаний, он метил далеко и пошел бы, если бы не случай, пресекший жизнь его в полном расцвете. Он во всем старался подражать Марксу: играл в шахматы, из беллетристики читал только Шекспира, мечтал о газете, им издаваемой, не щадил идейных врагов и, идя к намеченной цели, не брезговал приемами, далекими от его способностей. Сила воли у него была железная. Что задумает, то исполнит. На вид был суровый и с товарищами, плохо разбирающимися в вопросах, был резок и умел сразу поставить товарища на свой шесток. Он был любимец Плеханова, меньшевик, конторщик из рабочей среды.

В Баку он работал под кличкой «Лебеда».

Красота произносимых им речей была так велика, что крупный местный кадет, присяжный поверенный Петров, после одной речи Федорова, подошел к нему и пожал руку.

— Вы — Демосфен — сказал он ему.

Он умел подчинять своей воле других. И за ним, как за учителем, шли интеллигенты, слепо ему во всем подчиняясь и соглашаясь с ним. Его действительными учениками, из которых один, Ахматов, потом был в Ц.К. партии меньшевиков, были Владимир Коган, впоследствии семипудовый человек, Брумштейн, Ивановы — интеллигенты, Жуковский, Андреев и Петр Афанасьев — рабочие.

Их идейные противники, интеллигенты — Дядя Белый, Иван Иванович Неверов, Владимир Юдовский, крупная теоретическая сила, и Баженов, — не обладали такими ораторскими способностями, как Федоров, и им было трудно удержать в своем влиянии всю тульскую организацию, которая, как и они, целиком была большевистской. Идейными противниками Федорова из рабочей среды были Сергей Иванович Степанов, Колесников, Александров Николай — железнодорожник, Салтыков Павел, Камаев и другие. Сергей Иванович Степанов был очень образованный человек, но говорить не умел. Как ораторы, все они были слабоваты, и всех их забивал Федоров.

Большинство комитетчиков были большевики, а влиянием, как личность, пользовался меньшевик. Меня тут же кооптировали в комитет, предполагая очевидно, противопоставить Федорову, как агитатора, тоже популярного в среде туляков. До этого, за все время моей революционной работы, я в центрах не был, и в чем там заключалась работа, не знал. А когда попал туда, сразу бросилась в глаза разница между рабочими и интеллигенцией. Исключая Федорова, рабочие далеко отставали от интеллигенции в познаниях.

Почувствовал там и я свою теоретическую слабость. Как только поднимался какой-нибудь вопрос о политике рабочего класса, интеллигенция в защиту своих положений пускала в ход весь арсенал знаний, начиная от учения Маркса, Энгельса, Каутского и др. и кончая целым рядом трудов исторических, социологических, философских, психологии и т. п. Я чувствовал себя на этих собраниях, как дурак в колпаке.

Попробуешь высказать свою мысль попросту, как понимаешь, а тебе — бах по голове тридцатью чужими мыслями и так забьют, что другой раз уже и не лезешь, а сидишь да слушаешь, что интеллигенты говорят. Отстаивать свою точку зрения, — значит, спорить; молчать, — значит соглашаться. И что ни собрание, то политический диспут. Совместно работать было невозможно, шла борьба за влияние над рабочими. Большевики проводили свое, меньшевики свое.

Федоров, учтя свое превосходство над другими, решил вынести все комитетские споры на массовки. Не побеждая в комитете, где было большинство большевиков, он рассчитывал на низы. Массовки тоже превратились в диспуты. В пылу борьбы отдельные лица не брезговали и личными нападками, подчас пользуясь приемами демагогического свойства.

Чем сильнее был противник, тем грязнее были нападки и все это делалось на глазах рабочих низов. Многие не выдерживали и уходили к соц.-революц. Наконец Федоров решил обезвредить противника—большевиков. Чтобы вырваться окончательно из-под опеки комитета, он на массовках стал ставить вопрос о ликвидации неработоспособного комитета, состоящего, де, из интеллигенции, и поднял вопрос о создании руководящего коллектива из одних рабочих.

— Рабочим надо итти в думу, — говорил он, — а комитет призывает вас бороться вне думы с оружием в руках. Ему мало крови уже пролитой, он хочет еще.

Я Федорова раскусил с первых же дней. Не умом понял, а душой. Отдавая должное его таланту и знаниям, я в то же время видел сидящего в нем черного чорта, — эгоизм и тщеславие. Ему нужно было захватить большую тульскую организацию, чтобы играть в ней первенствующую роль, и потом, полагаясь на богатое дарование, пройти от тульских рабочих в думу.

Мне, кооптированному в комитет и проявившему особое упорство против взглядов Федорова, попадало от него больше всех. Он со мной держал себя в комитете пренебрежительно, стараясь резко подчеркнуть, что я — в политических вопросах человек невежественный. А так как я в рабочей среде считался недурным оратором, то со мной он во время полемики не церемонился и принимал все меры, чтобы натравить на меня рабочих.

Быть в комитете вместе стало невозможно. Он весь комитет, чтобы добиться своих целей, обвинял чуть ли не в воровстве. И добился того, что на одной из массовок поставили вопрос о ликвидации комитета и избрании руководящего коллектива. Массовка раскололась на две части, одна пошла за большевистским комитетом: зареченцы, железнодорожники и часть патронников; а оружейники в большинстве и часть патронников, — за меньшевиками, избрав руководящий коллектив с Федоровым во главе. Образовалось два центра. Ночью меньшевики захватили типографию и перевезли ее в другое место. Тотчас же руководящий коллектив выпустил газету «Рабочее Слово» с передовой Федорова и под его редакцией. Содержание 2 номера газеты, выпущенного в среду 22 ноября 1906 года, таково: «Резолюция, вынесенная 11 ноября 1906 года, в количестве 25 человек собранием организованных рабочих».—«Выслушав сообщение товарищей из Патронного завода о той позорной борьбе, которую ведут с нами бывшие члены тульской организации, т. н. «большевики», т.-е. бланкисты, но не социал-демократы, мы, организованные рабочие города Тулы, выражаем свое негодование по адресу этих ослепленных враждой людей и постановляем — предать их имена гласности в пределах партии, дабы каждый мог остерегаться их влияния, и обращаемся

к товарищам Патронного завода с горячим призывом отвернуться от таких людей, перестать давать им взносы для самовольного расхищения, передавать их новым кассирам и всячески поддерживать руководящий коллектив тульской организации, который почти весь состоит из рабочих».

«Чулковский район, Патронный завод. Многие из товарищей дают им по привычке деньги, но они ни одной копейки не передают нашей организации, а тратят их неизвестно куда, не дают отчета, быть может, сами проживают. От этих ослепленных людей, зовущих себя «большевиками», а на самом деле врагов освободительного движения, мы терпим куда больше, нежели от Селиванова [1]) и Колокольникова [2])».

Редакция «Рабочее Слово» получила опровержение заметки о владельце магазина Б. Кронрод. «Противоречия труда с капиталом,—богом наживы,—непримиримы. Их никогда нельзя искусственно обострять, а особенно теперь, когда у нас с Кронродами есть общий враг—правительство». «Простой низовой народ—рабочие и крестьяне—начинают все больше организовываться для защиты своих прав, для завоевания 8-часового рабочего дня, и Кронрод должен доказать, что он действительно желает устранения правительства».

Передовица: «Народ и выборы».—«Всякий, кто серьезно и основательно опасается разгона будущей второй думы, и вместе с тем желает добыть земли и свободы себе и народу, должен участвовать в борьбе и неумолчно призывать к этому и тех, кто еще колеблется. В особенности важно это делать рабочим».

«Библиография».—«В хулиганской газете «Вечерний Курьер» печатались воспоминания, будто бы соц.-дем., под заглавием «Вразброд». Многие товарищи называют автором этих заметок А. Н-а, которого, по слухам, вдохновлял и снабжал материалом Аркадий Ярцев, решившийся излить свою желчь и досаду на работающую сейчас организацию».

Последняя заметка впоследствии дала возможность жандармам установить, что Фролов есть Ярцев, а Ярцев есть Фролов, и мне пришлось через это просидеть лишние годы в тюрьме.

---

[1]) Пристав.

[2]) Черносотенец.

На меня, как работника-массовика, неискушенного еще идейной борьбой внутри организации, ибо раньше меньшевиков не было, а были все соц.-дем., боровшиеся с капиталистами и правительством агитацией и оружием, выступление меньшевиков из руководящего коллектива сильно подействовало. Я тогда же решил перестать быть профессионалом партийным работником и начал работать по-старому, как массовик-рабочий. Федоров был профессионалом. Началась упорная борьба между двумя центрами. Часто в одном и том же лесу было два собрания, одно — руководящего коллектива, другое—комитета. У комитета были свои силы — рабочие, а коллективисты выписывали Алексинского, Череванина и других.

Рабочие хмурились, не нравилась им эта история, — раскол. Красивые слова надоели. Силы рабочего были раздроблены. В тех и других рядах стали раздаваться голоса к об'единению.

Социал-демократические депутаты в Думе считались неприкосновенными, а соц.-демократическая партия была в подполье; партийные работники работали нелегально и их так же ловили и арестовывали, как и раньше. Враг сплачивался и оправлялся, а мы дробились. Холодной дождливой осенью опять начались усиленные обыски и аресты. Дома никто не ночевал. Ночевку добыть было труднее. Помню, к кому ни обращусь,—пустить переночевать, с «удовольствием» бы пустили, но то тесно, то сами дома не ночуют, словом: к сердцу принимают все, а толку мало. У интеллигенции либеральной можно было бы приют найти, но я не любил ей кланяться, да и вообще симпатий к ней я издавна не питал. Ночевал однажды в Английском саду, под навесом, а вечером выглянул на Киевскую. Спать хотелось, есть хотелось, а впереди — опять ночевки нету, хоть иди в тюрьму сам и садись. На душе у меня—липкая мгла. Одиночество давало себя знать крепко. Без дела был. Поступить куда-либо было нельзя,— все знали.

Попался в этот вечер мне сын Стрекопытова.

— Ты что кислый такой? — спрашивает.

Рассказал,—так и так.

— Чудак ты, Александр. Право, чудак! Шел бы прямо к нам. У нас сейчас кухня свободная. Идем!

Пришел я в эту пустую кухню, зажег лампу, сел за стол и задумался. Любил я в это время девушку, что в Екатеринбурге встретил, сильно любил, но убивал в себе в корне эту любовь. Встречались мы часто, она в Тулу приехала. Ни с кем я не делился, что люблю ее, даже ей не говорил. Но, когда приходилось на собраниях бывать, особенно на больших, и Федоров выступал, она обязательно тут была, слушала, а я не уступал противнику в отстаивании своих убеждений. Я ей никогда не говорил, как я живу, но она догадывалась, что плохо. Раз к моему отцу пришла, в дом вошла, и потом часто ходила, под предлогом — книгу взять для чтения. Увидят ее, бывало, мои старики в окно и говорят: — «Хивиночка идет». — Я жил на Подгяческой, в самом что ни на есть рабочем районе. Учиться нигде не училась, а с детства в белошвейной мастерской работала, хорошая модистка-продавщица была, жизнь знала. Была она и не трусливая. Когда местная черная сотня сколотила в Туле шайку хулиганов, вылавливавших нас, она открыто ходила со мной, и, однажды, против моей воли, спасла меня. Случилось так, что хулиганы выследили меня, как раз около ее дома. Я должен был проститься с ней и идти один глубокой ночью. Она заметила, что за мной следят и — не пустила меня. Я запротестовал. Уговаривать она стала. И прислушалась мне в ее голосе, что я ей дорог. Осталась.

В доме у нее я ночевал.

Устроила меня в сарае, подушку принесла, простилась и вернулась в дом.

Остался я в темном сарае один. Слышу: по соседству свиньи хрюкают. По двору кто-то прошел и — прямо к сараю с фонарем. Ну, думаю, сейчас откроют сарай, увидят меня, испугаются, закричат и, приняв за забравшегося жулика, ловить начнут. Плохо! Ощупал руками бочку, решил в нее спрятаться. Оказалось, люди вышли ночью свиней кормить, в соседнем сарае. Оттуда-то, сквозь трещины, свет в мой сарай проник. Заметил вроде лавки что-то стоит. Когда ушли из соседнего сарая, я на лавку хотел присесть. Лавка приподнялась, и мне на голову с другого ее конца курица свалилась. Поднялось кудахтанье. Куры с перепугу начали кричать и биться, потревоженные свиньи захрюкали, залаяла собака. Я не выдержал, выскочил на двор и — на улицу.

Рано утром Шура пришла справиться, цел-ли... и, когда я ей рассказал про проведенную ночь, мы оба до слез смеялись.

Без нее мне было скучно. Я искал с нею встреч.

С каждым днем я к ней привязывался все больше и больше. Я знал, что ее люблю, и знал, что этого не нужно. И я принимал все меры, чтобы убить в себе назревшее чувство. Неделями не показывался. Весь отдавался революционной работе. Не довольствуясь работой среди рабочих, стал работать среди солдат в военной организации.

Лампа тускло освещала больную кухню у Стрекопытова. По углам лежали черные тени, дождь барабанил в стекла, дул резкий, северный ветер. Сам Стрекопытов поднялся к себе, наверх. Я сидел один. Вернулся Стрекопытов.

— Есть хочешь? — спросил.

— Нет, — говорю, — дай лист бумаги и чернил.

— Что, прокламацию писать?

Принес тетрадь, чернила и ушел.

Я сел писать рассказ о том, как озлобленный неудачами человек бьет однажды ночью на улице проститутку, несчастную подвернувшуюся ему женщину. — Рассказ озаглавил: «На улице ночью».

Зачем я написал рассказ, не знаю, только утром, когда я его перечел, он мне понравился.

— Э-э, обмозговываю, не боги горшки обжигают. Снесу-ка в редакцию газеты. Как раз в это время только открылась одна, паршивенький «Тульский Вестник».

Пришел в редакцию.

— Вот, — говорю, — не подойдет-ли вам это. — Подаю рассказ.

Редактор поглядел.

— Зайдите завтра.

Зашел.

— Рассказ хорош, — пишите. Гонорар — четыре копейки от строчки.

Как услышал это, — света не взвидел от радости. Господи, думаю, неужели я, простой самоварщик, рабочий, умею писать? Беллетристику!

Побежал к Генашке.

— Генашка! — кричу, — рассказ написал, приняли и деньги дадут.

— Да что ты?

— Ей-богу.

— Знаешь, что, Аркашка,— сказал он мне,— давай-ка, брат, по другой линии пойдем. Ты дуй на Горького, а я — на Шаляпина. Что мы хуже других? Если рабочие, так мы ни на что и не способны? Давай, брат, докажем!

В самую, что говорится, тютельку попал тогда Генашка своими словами.

— Эх,— говорю ему,— была-не была, повидалось. Давай руку! Ты будешь учиться петь, а я — писать. Осилим жизнь,— наша взяла: она нас сломит — ее счастье.

И сделался я хроникером. Начал с мировых судей, а потом и пошло дело. Хроникерство мне тогда больше всего нравилось. Только и дышал тем, как бы что-нибудь написать. Большего наслаждения, чем я испытал однажды, представить нельзя. Пришла в редакцию на Рождество некая девушка и попросила праздничный номер газеты с рассказом Фролова. Я стоял тут же. Спустя десять лет после того попал я к одному тульскому фабриканту, в Чулкове, замочнику, и сильно поразило меня оборудование его мастерской и те технические усовершенствования, которые он применил в производстве.

Я удивился и заметил, что в Туле подобное производство — редкость. Тула — отсталый город.

— Всем этим я обязан вот кому,— указал на потолок.— Спасибо человеку, написавшему это и открывшему нам, дуракам, глаза.

На потолке, в раме, была моя статья, в которой я трактовал о современном самоварном и скобяном производстве, о его примитивной выработке и призывал перейти к машинной обработке, чтобы конкурировать с заграницей, в особенности — со скобяным делом в Германии и Польше.

Хроникой я набивал руку, но бывали дни, когда хроники не было.

— Хоть из пальца высасывайте, но подавайте хронику,— требовал редактор.— Хроника — душа газеты.

Однажды бегал, бегал я — нигде ничего. Вспомнил, мост железнодорожный строился. Пойду-ка посмотрю, авось что-либо о нем написать можно. Только стал осматривать мост, глядь — по линии железной дороги народ бежит:

— Крушение! крушение! — кричат.

Я — туда. Гляжу, и — глазам не верю. Паровоз в паровоз врезался; вагоны, как быки на коров, друг на друга налезли, часть их в щепы разбита, часть горит, стоны, кровь, раненые. Кто плачет, а я соображаю. Уже в уме создается заглавие большими буквами: «Грандиозное крушение с человеческими жертвами». Бегу в редакцию. Только написал, слышу телефон звонит.

— Откуда говорят?

— Контора «Надежда», у нас экспроприация была.

Я туда. Прямо к пострадавшим.

— Позвольте представиться: корреспондент газеты. Расскажите, как это было.

— Пойдите к чорту, — озлобленно говорят мне. — И что за нахальство. У людей горе, а вы тут с газетами лезете!

Молчу. Хроникеру, как воякеру, нельзя обижаться, если заработать хочет. Только и думаешь как бы где-то прозевать грабеж, пожар, крушение или убийство. Полицейскими, покойниками и подзидышами тоже не брезговал. Снежные обвалы с крыш описывал. А уж ежели к мировому судье попадал на бытовую картинку, — знай: пятерка заработка.

Для газеты я был Фролов, для организации Ярцев. Днем по хронике, вечером — по организации, а ночь моя. Фельетоны уже не удовлетворяли. Нравились они рабочим, но я желал и требовал от себя большего. В голове толклось много мыслей. Но чуть возьмешься писать, описывать все, — на штампы сбиваешься. Наконец, написал я рассказ из военной жизни: «На рассвете», фабула: отказ рядового солдата, хохла Хоменко, стрелять в политических, во время расстрела. Послал рассказ в «Мир Божий». Вернули без ответа. И решил я тогда проверить себя, гожусь-ли я в литераторы, или нет.

Собрал свои печатные рассказы, рукопись «На рассвете» и, захватил, — и пошел к Викентию Викентьевичу Вересаеву. Он как раз очутился в Туле и жил в доме своего отца. Многие тульские рабочие из организации его хорошо знали; сам он

иногда бывал на массовках. Шел я к нему немножко смелее, чем к Горькому, но все же робко. На писателей я смотрел, как на людей не от мира сего.

Старо-Дворянская улица; старинная и тихая, вся в садах. Народ на ней жил больше чиновный, из казенной палаты, из окружного суда и других присутственных мест. Тут же особняками расположились адвокаты местные и врачи заслуженные, с именем. Ни на одном доме не висело лавочных вывесок, и самих лавок не было. Занавешенные шторами окна говорили о том, что обитатели их любят покой и вечерние сумерки. Ворота домов были всегда плотно заперты и из подворотен выглядывали большие собачьи морды. «Без звонка не входить» — оповещали таблички. Улицей хорошо было гулять летними ночами, когда внизу, в городе, таял шум и движение, а тут, точно в саду монастырском, ни живой души, только зелень цветущих лип, что по сторонам росли, округляя аллеи, бросая на дорогу великолепные тени. В распахнутые окна просачивался на улицу тихий говор, музыка. Иногда тоскующий женский голос пел романс и, оборвавшись, замирал в комнатах. Заглянешь туда, — одна прелесть там.

На такой улице Вересаев жил, в одноэтажном, древнем барском доме. Когда-то там весело было, а теперь дом кончал перелистывать хорошие страницы своей жизни. Владельца дома, доктора Смидовича, любимца простого народа, давно в живых не было. Дети — кто где жил, бывали наездами. Дом выглядел заброшенно. Автора «Записок врача» я застал в большой обособленной комнате. Обстановка простая, но именно такая, какая нужна писателю: письменный стол, книги, бумаги и кругом старая-престарая мебель.

Когда я вошел, Викентий Викентьевич любезно поздоровался. Вот уже другой писатель жал мою руку и в обоих я заметил то, чего нет в остальных людях: они были особенно просты и сердечны. Видишь его первый раз, а чувствуешь себя у него, как у давнего знакомого, который в час прихода оказался очень занят.

Лично меня Викентий Викентьевич не знал, но фамилия моя была ему известна. Я рассказал цель моего прихода.

— Знаете что,— сказал он мне,— газетные ваши рассказы мне не давайте; они — не рассказы. Даже у хороших писателей они — не художественное творчество. Газета портит художника. А вот это мы посмотрим, — взял он рукопись «На рассвете».

И тут же пробежал ее.

— Искренно написано и образно, — поднял голову Вересаев. — Слог не чужой, а ваш собственный; это — плюс. Если вы несколько измените конец рассказа, он может пойти в «Журнале для всех». Я вам обещаю поддержку. Не бросайте работы и работайте. Знайте, чтобы хорошо написать, надо каждую строчку отделывать.

И рассказал мне, что Лев Николаевич Толстой, будучи уже известным, и то раз по пять переделывал свои вещи.

Вышел я от Вересаева ободренным, крылатым. Я понял: нужно учиться и работать. И я твердо решил посвятить себя только этому делу. Ночи просиживал, переделывая конец рассказа «На рассвете», и сегодня, примерно, я его кончил, а завтра рано утром меня арестовали и оборвали мою литературную нить ровно на шесть лет.

Когда меньшевики узнали, что мы, большевики, имеем военную организацию и что, в качестве агитатора, к солдатам посылаюсь я, они обратили на это внимание и, когда под давлением низов, два руководящих центра вновь слились под названием «Комитет единой с.-д. тульской организации», — с левым и правым крылом,— стали посылаться на военные солдатские собрания и представители меньшевиков. Но им там делать нечего было. Я среди солдат был уже свой человек; я им нравился: не только, как оратор, а и как человек, я умел подойти к ним, понять их казарменное горе и нужду крестьянина и рабочего, загнанного в солдаты. В войсках было много солдат, понимавших борьбу рабочего с правительством, но в организацию итти боялись: слишком суровая была кара.

Организатором среди военных был у нас «Борис», Владимир Юдовский, а я, как агитатор-пропагандист, работал. Самыми близкими солдатами нам были: полтавец—Кричевский, феодосиец

Бендиков, харьковец — Розановский и белорус Паньков — солдаты Новоингерманландского полка.

Паньков был простой крестьянин, плотный, коренастый, вымуштрованный до такой степени, что у него не только пуговицы,—лицо блестело. Он был ефрейтор. Вообще, все зарекомендовали себя аккуратными строевыми солдатами. Работали чисто,— комар носа не подточит. Прокламаций не распространяли, а газеты и нелегальную литературу читать товарищам давали. Поодиночке в кружки вводили, кружки маленькие, — не больше пяти человек. Общие собрания (дело было зимой) устраивали у Нефедова Бориса, железнодорожного телеграфиста. Связь с казармами держали партийные девицы — Бороневская Таня, дочь полковника, и сестра Нефедова — Тася. Они одевались горничными и даже ходили в казармы. После той грызни, которая царила на рабочих собраниях, в военной организации душой отдыхали. Тут была тесная семья, связанная ответственной, серьезной работой. Малейшая оплошность — и все провалено. Все сознавали это и были осторожны. Юдовский и днем почти не показывался на улицу. Сидит у себя в комнате, как сыч, — вечера дожидается. Придешь к нему, — лежит на постели, обложенный книгами: читает. В комнате тараканы: где брюки, где сапоги, и весь пол в окурках.

— Борис, будет тебе валяться, вставай! Что ты, в самом деле, как байбак, лежишь весь день?

— Погоди, не перебивай. Тут вот Богданов выдвинул такое положение против Аузбаха, что меньшевикам теперь крыть нечем.

Юдовский был работник начитанный и проглатывал легко серьезные труды. Человек был артельский, простой и веселый. Попал к нам в Зареченский район и всем пришелся по сердцу. Рабочие его любили.

Как ни осторожно мы работали, все-таки нашелся среди солдат один провокатор. Он всего-на-всего побывал один раз на общем собрании, и мы узнали об этом лишь после ареста. Арестовали нас вскоре после того, как арестовали социал-демократическую фракцию второй Думы. За несколько дней до ареста я решил окончательно отдаться литературной работе. Пришел я как-то к Шуре, а она мне говорит:

— Уезжаю я, Аркадий, из Тулы. Прощайте! От всей души желаю вам счастья. Вы стоите его. Вы — хороший.

— Хороший или плохой, вам-то что: все-равно,— дерзко и грубо оборвал я.— За пожелание — спасибо. Вы — тоже милая.

Больно было мне, что она уезжает. Я любил ее, хоть никогда об этом не обмолвился ей, Шура это чувствовала и тянулась мне навстречу, все время подчеркивая, что мы — друзья.

Она уехала в Саратов, а я, с головой вошел в работу военной организации, искусственно заставляя себя привязаться к Тане Броневской, вытравляя образ любимой девушки. Я часто ходил с Таней на собрания, провожал ее домой, бывал у нее дома. Совсем незадолго до ареста я гулял с нею в парке, как раз после занятия с солдатским кружком, потом пошел ее провожать. До поздней ночи у них в саду засиделись. Стал накрапывать дождь

- Оставайтесь у нас ночевать,— предложила.

— Нет,— говорю,— пойду домой.

Дождь усиливался.

И только я вошел в дом,— приехали жандармы и арестовали.

Та же тюрьма, лишь битком набитая эксами. Надзиратели были прежние, один только старшой Савельич был новым.

— Опять к нам,— встретили меня.

А надзиратель Рублев ведет меня и приговаривает: —«Что, тудыть твою мать, за грабеж, небось, попал! Политика тоже! Знаем мы теперь вас, какой политикой занимаетесь!».— Все экспроприаторы считали себя в тюрьме политическими, и политические, с точки зрения Рублева, были те же экспроприаторы. Я экспроприаторов не любил не меньше Рублева и еще на воле вел против них отчаянную борьбу, как с самыми злейшими врагами рабочего класса. И когда меня Рублев смешал вместе с экспроприаторами, я в присутствии остальных надзирателей так его выругал, что меня обступили тотчас и начали дружески успокаивать:

— Бросьте, господин Фролов, он вас плохо знает,— говорили надзиратели, а Рублеву об'ясняли: это старый политик, разве он на такое дело пойдет. Он больше против царя.

— Почем я знаю, — забурчал тот, — теперь и не разберешь, кто из них политик, кто экспроприатор.

Меня посадили в общую камеру с накануне арестованными. В эту ночь захватили Владимира Юдовского, меня, солдат и кое-кого из рабочих с железной дороги. Спустя несколько дней привезли Федорова, потом Брумштейна, Ахматова и Когана.

Я, Юдовский, Жуковский, Пархоменко (рабочий), Теплов Николай засели в низу. Нас, видимо, подсортировывали: большевиков к большевикам, меньшевиков к меньшевикам. Арестовали всю организацию, исключая дяди Беленького, и много рядовых почти рабочих, более или менее активных. Их, впрочем, вскоре освободили, а против Федорова, меня, Юдовского, Жуковского, Ахматова, Когана, Брумштейна, Панькова, Бендикова, Кричевского, Варшавского и Розановского создали дело. В момент ареста у меня ничего уличающего не было обнаружено, но у меньшевиков, больших любителей все записывать, нашли — у Брумштейна и Когана — архив, в котором были протоколы заседаний комитета и коллектива, куда они заносили фамилии и кто что говорил. Попала так же моя черновая прокламация к приказчикам, найденная у Брумштейна. Свидетелем по делу военной организации выступал солдат-провокатор. Пахло серьезным. Применили 126 ст., II часть, 129 и 130.

Повелось следствие. Жандармы, на основании захваченного материала, установили, что я — Ярцев. Когда меня предъявили провокатору Сове, последний показал, что я именно тот агитатор, который на собрании призывал солдат вместе с рабочими, с оружием в руках, свергнуть правительство.

Из нашей организации жандармы захотели создать шумный процесс, связав его с социал-демократической думской фракцией, которой именялась в вину та же работа в войсках.

Дело вел Павлов. Многим из нас грозила каторга. Приговоры в это время выносились суровые. Правительство укрепилось. Все было подавлено, и с юга через нашу тюрьму проходили большие партии политических, едущих в кандалах — на каторгу, в серых бушлатах — на поселение. Много шло матросов и почти все вечники. Большинство их были такие красавцы, такие одухотворенные лица, что, как ни поглядишь на кого, так и вспомнишь Шмидта. Они были смелы, и в кандалах чувствовали

себя свободными. Их боялись. Помню одно раннее тюремное утро. Чуть светало. В тюрьме все спали. И, словно во сне, слышим: поют. И так поют, как я никогда и нигде не слышал: ни в театре, ни в церкви. Пели не голосами, а душами: «Вы жертвою пали в борьбе роковой любви беззаветной к народу...».

Мы все вскочили. Смотрю: этап, человек в двести, крики, шум, лязг кандалов, а в стороне, у тюремной стены стоят матросы в кружок, кандалами звенят и песню тянут. Не поют, а душу рвут на части. Я заплакал. И идут и идут через тюрьму этап за этапом, конца-краю нет, точно всю революционную Россию в халате в Сибирь перевозят. Идут бодрые, идут грустные, идут смеющиеся, идут убитые.

Видим мы все это и сами убеждены, что и на нашу долю выпадет оно. Охоты мало, а стены тюрьмы — высоки. Нелегко перепрыгнуть через них! О побеге подумывали многие, особенно соц.-революционеры и эксы. Зародилось и у нас в камере подобное желание. Бежать надо было не всем, а отстать от артели никак нельзя. Решили через подкоп бежать, — камера примыкала к стене. В углу, под койками, пол прорезали, и ночами по очереди, землю рыли. Работали с коптилкой, сделанной из чернильницы. Землю ссыпали между потолком и полом под камерой. Работать приходилось на пузе: место не позволяло. Залезешь в эту яму и, как в гробу, ничего не слышно: товарищи спят. На койке отсутствующего тоже человек лежит с головой укрытый, — чучело делали. Заглянет в волчок надзиратель; все счетом и уйдет, дурного не подозревая. Публика у нас в камере подобралась солидная, не первой молодости работники, бывалые, зря в драку с надзирателями не полезут и особых требований не пред'явят. В тюрьме было свободно: гуляли партиями, песни пели,— словом, не тюрьма, а общежитие веселое. Народ все молодой, боевой, анархисты, эксы и среди них много смертников, по 279 ст. Заранее знали, на что шли, и, попавшись, знали, что ждет их, и ничего не боялись. Внутри тюрьмы было свободно, а снаружи кругом часовые торчали, специальный военный караул дежурил. Мы себя держали чинно, и за хорошее поведение нас, в самый разгар подкопной работы, — почти уже до стены добрались, — перевели на четвертый этаж, в больничный коридор, а на наше место посадили, в наказанье, смертников — эксов.

Положение наше было глупейшее, самим не удалось воспользоваться подкопом и другим об этом нельзя было сказать, — а вдруг донесут. Так об этом подкопе и не узнал никто. Бежали больше «эксы», и только однажды удалось убежать молодому рабочему — токарю Дмитрию Прокудину, соц.-дем., случайно влопавшемуся в экс и очень потом об этом сожалевшему. Ему грозила смертная казнь. Побег удалось организовать осенью. Гуляли мы на заднем дворе с утра до вечера. Камеры все были настежь открыты. Посвящены были в побег немногие. Снеслись с волей. Две девушки из организации взялись отвлечь внимание часовых. Сидящие на четвертом этаже товарищи-солдаты должны были начать разговор с этими девушками в окна, выходящие в поле. Часовые знали наших солдат, но, по дисциплине, от тюрьмы проходящих отгоняли, удаляясь от углового поста в сторону. А с четвертого этажа внутри двора одновременно было видно, что творится за стеной и в самом тюремном дворе. Надзиратели знали, что снаружи стоит хорошая охрана у стен, не особенно следили внутри. Соберутся, бывало, у бани и лясы точат, с политическими спорят. А за баней стена в огород тюремный выходила.

Дело под вечер. Вот-вот звонок на поверку зазвонит, а мы: Юдовский, я, Ахматов, Брумштейн, Федоров, Жуковский, Прокудин и еще несколько человек — на дворе. Одни из нас надзирателям за баней зубы заговаривают, а мы готовимся, по первому условному знаку, с четвертого этажа Прокудина через стену перекинуть. «Готово», — подают нам знак. Становимся четверо, трое на нас Прокудин и еще один на троих и... он на огороде! Тихо. Темнеть начало. Звонок на поверку. Двор опустел. Понеслись молитвы арестантов, лязг ключей и гром засовов.

Пришли в камеру, где Прокудин сидел. Глядит дежурный принимавший тюрьму на ночь, по списку шестеро, а на-лицо — пять. В чем дело, кого нет и почему — никто не знает. Стоят, как угорелые. Надзиратели и старшие растерялись. Туда, сюда по тюрьме, — нигде нет. И никак догадаться не могут, как убежал. Проверили наружных часовых: все на своих местах. На стене — ни следа. Прямо — сквозь землю провалился.

— Вот это молодец, — говорили потом надзирателю. — Ушел и никто не знает, как.

Прокудин пробрался в Америку, а в 1917 году вернулся и занял потом при советской власти в Туле крупный пост. С ним я встретился на Оружейном: он поступил токарем, я заботал слесарем.

После побега Прокудина в тюрьме ввели суровый режим: камеры заперли, на прогулки стали выпускать по нескольке человек, во дворе поставили вооруженную силу, которой было приказано стрелять, чуть кто высунется в окно. На все это нужно было как-то реагировать. У политических была лишь одна, да и то традиционная форма борьбы—голодовка. Большинство сидевших экспроприаторов над этим посмеивалось и предлагало более решительную меру—тюремный бунт: бить стекла, двери и т. д. А смертники,—те просто требовали с оружием в руках выступить против тюремной администрации. Оружие в тюрьме имелось. Перед многими из эксов стоял тогда вопрос: умереть ли в петле, будучи повешенным, или попытать счастья — вырваться. Однообразной формы борьбы с тюремщиками найдено не было: политические отрицательно относились к бунтарству, зная, что, кроме ненужных жертв, ничего не получится; эксы считали голодовку либерализмом, и им смешно было морить себя голодом. Силы раздробились, и администрация победила. Режим был введен настоящий тюремный: что для уголовных,—то и для остальных; исключением для политических были свои книги и своя одежда.

Потекли страшные тюремные дни. Это было не то, что раньше, сидели не по человеку в одиночке, а в одиночных камерах по-двое, по-трое, даже по-четверо. Тюрьма была переполнена. Рассадили по категориям: эсеры к эсерам, эсдеки к эсдекам, эксы к эксам, смертники к смертникам. Все жили своей, присущей их группе жизнью. Большинство были следственники, но каждый приблизительно знал, что ему грозит. Из рамок выходили только некоторые экспроприаторы. Будучи по возрасту очень молодыми, принадлежа часто к той или иной революционной партии, они в боевых дружинах получили в руки оружие, и эта опасная

игрушка, сделав их сильными и смелыми, привела к тому, что они перестали считаться с кем бы то ни было, и нередко заворачивали в лавченку, отбирали там деньги — пять-шесть рублей: их тотчас же ловили, они отстреливались и потом судились, как политические, старыми седыми судьями и приговаривались ими к повешению. Часто это были дети, не понимавшие, что творят, не верившие в серьезность совершенного ими преступления и беспощадный смертный приговор. Бывало, вернутся из суда и не знают, что их к смертной казни приговорили. И только ночью, когда приходят палачи и берут их из камеры, чтобы отвезти на место казни, они сердцем догадываются, что у них хотят отнять жизнь. Бьются, кричат, кусаются, вырываются. А тот, кто знал, что его ждет, только и думал, как бы избежать конца, как бы улизнуть из-заперти. И темными ночами, когда все в тюрьме спало тяжелым сном неволи, они обдумывали дерзкие планы побега.

«Бежать, бежать!» — вот мысль, которая огненным сверлом пронизывала их мозг днем и ночью.— Лучше смерть от пули, чем гибель в петле!

И чем угрюмей был режим в тюрьме, тем сильнее была жажда воли.

Однажды группа эксов, гнездившаяся в камере рядом с церковью, разобрала стену, пролезла в церковь, вооруженная револьверами, вышла в корридор, но была замечена и тут же схвачена. Замысел был неглубок: дойти до главных ворот, убить привратника и выскочить вон.

Другой план побега был продуман вечером, в сентябре. Под нашим корридором сидел самоварщик Киселев. Он был простой рабочий, но необыкновенного сложения и силищи: ростом в сажень, кособокий, с громадными медвежьими ногами, большущей головой, с низким лбом, приплюснутым носом, широким ртом и круглыми, стеклянными глазами, не выражающими никакой мысли. Он был приговорен к смерти за убийство семьи купцов Стольниковых: Киселев убил и изрубил троих человек: — мужа, жену и взрослого сына,— и всех их запрятал в кухне под печку. Его боялась вся тюрьма.

В мире уголовных он был новичек, но его первое крупное преступление сразу создало ему среди уголовных популярность.

и ему уступали первенство даже старые уголовщики. К тому же он обладал нечеловеческой силой.

Киселев сидел в корридоре с серьезными экспроприаторами и все они задумали побег. Было в корридоре шесть камер, по одному в каждой. Киселёв попросился «до ветра» и, возвращаясь обратно, моментально схватил надзирателя за горло, втащил к себе в камеру, скрутил ему руки, заткнул кляпом рот, обезоружил, отобрал ключи и отпер остальные пять камер. Все шестеро расковались и пошли в другой корридор, чтобы добраться до ворот. По дороге их встретил надзиратель Рублев и, догадавшись, в чем дело, дал выстрел. Поднялась тревога. Началась стрельба. Беглецов загнали в камеры, они начали отстреливаться. Их стали выбивать с двух сторон, стреляя в окна, со двора и в окно двери через корридор, тоже со двора. Убили всех.

Стрельба продолжалась около часа, но остальные, будучи заперты, не понимали в чем дело. Но всеми сразу почувствовалось нечто неприятное. Я в это время сидел с товарищем Жуковским, а на другом конце корридора помещалась часть наших солдат. Мы стояли около их волчка и разговаривали. Когда раздался первый выстрел, и вслед за ним команда Савельича «За мной!»—нам показалось, что стреляют имено в нашем корридоре. Мы бросились в камеру, с нам вскочил уголовный корридорный. Испуганный надзиратель еле нас запер.

Потом вдруг слышим: открывается дверь какой-то камеры, лязгает засов, раздается вывернутый голос Савельича, и после всего — ружейный залп. И опять тихо. Через минуту одиночные выстрелы. Потом стрельба пачками. Пули заплепали в стены, и мы пришли к тому убеждению, что всю тюрьму обстреливают снаружи. До этого ходили слухи, что во многих тюрьмах политических начали просто убивать. «Ну,— думаем, — дошел черед и до нас».

— Стреляй, тудыть вашу мать! — кричит Савельич.

И поднялась беспорядочная пальба в стенах тюрьмы. По звукам выстрелов было заметно, что сражаются две группы, и нам чудилось, что надзиратели перепились и, начав было стрелять в арестованных, передрались между собою. Душу сковал холод. Если тюрьму захватят пьяные надзиратели, всех

перестреляют. Снова смолкло все. И так тихо, словно в тюрьме ни живой души. Может быть, минута прошла, может — час.

«Должно быть, кончилось»,— решаем мы.

Внезапно раздается звон стекол, как будто кто нарочно изо всей силы ударил колом по раме.— Дзинь, дзинь, дзинь,— полетело по тюрьме.— Трррр... — загремел под сводами камерный засов, рушась на асфальтовый пол.

— Бей, не жалей! — громовым голосом командует Савельич.

И опять залп. Поспешный топот ног, снова звон стекол, гром засова и выстрелы. Еще и еще. Ясно: идут из камеры в камеру и бьют стекла, чтобы крепче себя возбудить.

«Убивают, убивают,— твердит мысль.— Сейчас, сейчас явятся сюда».

Вот-вот близко: камера, другая — и мы. Сначала мы полагали, что расстреливать нас будут в волчок. Стали за уступы, а уголовный, попавший к нам в камеру, сел прямо против волчка и приготовился: бледный весь, примирившийся.

Снова все стихло, но напряженные нервы не верят уже в конец. И ждут, когда же снова начнется стрельба.

В окно заглядывает ночь. Разговоры в корридоре шопотом. Кто-то посмотрел к нам в волчок. Обыкновенный звонок на поверку.— мы облегченно вздохнули. Камеру нашу открыл новый надзиратель и выпустил корридорного. Донеслась молитва арестантов.

— Встать на поверку! — закричали у нас в корридоре.

Утром на другой день мы узнали, в чем было дело.

После этого тюрьму посадили на винт [1]).

Думать о каких-либо занятиях в тюрьме не приходилось; каждый день приносил такое, что окончательно выбивало из колеи. Даже стальные нервы не выдерживали того, что творилось в тюрьмах вообще, в этой же—в частности. Правительство Николая приступило к ликвидации революции: суды работали во-всю. Политических оптом присуждали к каторге, ссылке и крепости; эксов вереницами отправляли на виселицы. Что было лучше: смерть

---

[1]) «Посадить на винт» — значит ввести чрезвычайно суровый режим.

сразу или смерть медленная, в тюрьме или на каторге,—сказать было трудно. Шедшие в Сибирь на поселение и каторгу с юга передавали, что в Орловской каторжной такой режим что года не высидишь — добьют. Порядок там был установлен хоть куда: приводят партию политических, сейчас же, чуть в ворота,—тебя вдоль спины вытянут нагайкой: узнать, де, какой у тебя характер, строптивый или нет. Промолчишь,— ступай дальше. огрызнулся,— изобьют и в карцер, а там в роле штрафованного и — пошли издеваться. Били за то, что креста не имеешь, и били за то, что крест носишь: дескать, морочишь напрасно голову. Заставят полы мыть: нальешь много воды — бьют, зачем много налил; нальешь мало — бьют, почему — мало. А летом выгонят на прогулку и заставляют траву щипать, но так, чтобы без корня и по одной травинке. Как вырвал пучком, да с корнем, так — в зубы. В одной из сибирских каторжных тюрем сидевшим все зубы повыбили. Такой «зубобой» прибыл однажды из Питера и в тульскую тюрьму, саженник какой-то, плечистый на кавалериста, усатый, красномордый, с лицом выхоленным, но не лучшим, чем у Киселева. Взял он за скованные руки одного уголовного, поднял их над его головой и говорит:

— Разинь рот! — Тот разинул.

— У тебя, такой-сякой, сие зубы и ли!

И на начальника тюрьмы выразительно посмотрел — почему, в чем дело.

Тюрьма присмирела. Жуткой стала. Сиди и жди, когда смерть придет.

Тиф завелся,— косить начал. А по ночам водить на огород стали,— вешать. Слабые плачут, бьются; у сильных хватает духу крикнуть на всю тюрьму:

— Прощайте, товарищи!

И просыпается тюрьма, и долго не затихает, и все ворочается под серыми одеялами, звеня кандалами и тяжело вздыхая. Образы матерей витают в тюрьме, детство снится в мыслях, как на яву...

— Не дамся им,— решает экспроприатор - рабочий Рябов и под одеялом ночью гвоздем вену на руке вскрыл. До утра кровь текла, но не умер человек, в больницу отправили, вылечили и повесили. Умер, говорят, слова не проронив.

Осмелели палачи. Раньше боялись политических в карцер сажать, а тут, чуть что, грозят карцером.

— Ты, матушка моя, смотри у меня,— хмурится Савельич,— живо в карцер.

Мы до этого дела не доводили: сами особых требований не выставляли, но и им не давались, держались оффициально. Потребовали от нас на день матрацы выносить,— выносили; потребовали обязательно встать при поверке, а не лежать,—пожалуйста.

Но, когда приехал раз в тюрьму губернатор, другим запахло. Решили демонстративно не вставать.

При условиях, когда каждый день был жутче прежнего, в голове не удерживалось что-либо серьезное. Читали не для того, чтобы пополнять знания,— ибо на что они, когда у большинства не было уверенности, выйдет ли он на волю, или нет,— а для препровождения времени. Читали больше беллетристику и газеты, что нелегально получали. Из последних узнавали, что реакция носит характер длительный, организация рабочих разбита, большинство активных работников в тюрьмах, а кто на воле,— не в состоянии что-нибудь сделать. Воля стала иной: появились «лига любви», «огарки» и пр. Многие уходили от революции, и сидевшие в это время в тюрьмах политические чувствовали себя как бы покинутыми. Все было далеко не так, как раньше.

По иному и следствие велось, без романтики. Два раза вызвали на допрос, сказали, в чем обвиняешься, пред'явили оффициальные документы и посадили до суда. А там — сиди и соображай, что ждет тебя. В начале следствия я еще полагал, что отделаюсь пустяками, а как арестовали у меньшевиков все документы, да как показал солдат, что на собрании был я, ясно стало, что сиди до «морковкиных заговен». Страшно нисколько не было. Единственно было обидно, что не через свою оплошность попал, а через неуменье других хранить документы. Когда нас всех привели в тюрьму и началась тюремная жизнь, ко всем положительно ходили на свидание. Я же был, как перст. Моих личных друзей жизнь разбросала, и никто ко мне не приходил, никто мною не интересовался. И я считал себя обойденным, обделенным жизнью. Сидел и рассуждал: сейчас мне много лет,

просижу еще лет восемь в тюрьме, будет тогда вторая молодость, лет на десять жизни тюрьма отнимет, в смысле здоровья,— значит, выйду на волю (если выйду!) уже развалиной.

— Ну, и чорт с молодостью!— злюсь.— Отсидел ее в тюрьме, значит, тому и быть!

И острота желания знать многое пропала. Дни коротал. Ужас тюрьмы в душу впитывал. Достоевского вспомнил, его для себя примером брал и думал: «Достоевский описал жизнь каторги шестидесятых годов, Чехов — девяностых, а я погляжу на нее в девятисотых,— какая разница будет?». Готовился к каторге, даже рубашки мастерил.

Меня каторга пугала, но не кандалами, не режимом,— я бы вынес любой режим,— а тем, что никогда не вернешься в родные места, на родину. И, прочитывая о жизни каторжан, об их сильном желании вернуться на родину и хоть одним глазком взглянуть, как живут там, в родных местах, я понимал всеми чувствами, какое страшное наказание — лишить человека на всю жизнь возможности жить не там, где он хочет, а где ему прикажут под угрозой. Еще можно было бы бежать заграницу, но ты, без средств, без языка,— как и куда убежишь?! Бродяжкой? В этом отношении у меня было все просто: борьба; попался — тюрьма, ссылка, каторга. И я думал о Сибири.

Расправа с политическими велась правительством Романова всеми средствами: явными, тайными, «законными» и «беззаконными». Судили всех, но зная, что многие политические работники, будучи арестованными, не имели материала, на основании которого их можно было бы упечь, куда Макар телят не гонял, придумывали для них специальные дела. Если не удавалось, просто тянули годами следствие, а потом судили и отпускали порцию по своей статье, а что под следствием коптел—это «на царя». И часто случалось: по статье закона наказания давали два года, а под следствием был три,— итого пять.

В нашем процессе все было ясно: документы у жандармов были с подробными протоколами заседаний, кто присутствовал и что говорил, солдат-провокатор был на-лицо. Недоставало одного, чтобы мы сами подтвердили, что мы именно те, кого

нужно отправить на каторгу. По общему сговору решили — не признавать себя. И, несмотря на все материалы, имевшиеся у жандармов с первых дней ареста, следствие все-таки тянулось два года, очевидно, из расчета: авось кого-нибудь из нас за это время тюрьма на тот свет отправит.

Жандармы предполагали, а политические располагали. Как ни трудно было сидеть в тюрьме, но сила любви к жизни была сильнее смерти. Умирать никому не хотелось, но о самоубийствах подумывали, и у многих смертников была наготове доза цианистого кали. Одни, даже за час до насильственной смерти, не принимали яда, а другие, как Рябов, задолго до суда, вскрывали себе вену. Уголовный Сашка Синяк, «домушник», из рабочих, лет пятнадцать в тюрьме и ротах сидел, и все ничего, как дома себя чувствовал, а то вдруг — облился керосином и зажег себя. Загорелся, как факел. Задумался я тогда над вопросом: что легче — смерть сразу, от петли, пули или яда, или медленное угасание, гниение в долголетней тюрьме, ссылке или каторге?

Я ставил себя в положение приговоренного к смертной казни и раскидывал: как бы я реагировал? Ложился на койку, представлял себе мучительную ночь, потом факельное шествие, палачей, попа, начальство, веревку и себя, идущего на казнь. Все шли молча, и потому, что я не вырывался, не кричал и не просил о пощаде, а шел, как на обыкновенную прогулку, враги были обезоружены и чувствовали себя неловко. Им хотелось, чтобы я метался, жизнь подавал, а я ее в себе уже убил. За минуту до смерти звездам изо всей мочи крикнул: — Прощайте! Крикнул не голосом, а душой. Петлю на шею сам накинул и, чтобы лишить врагов повода подумать, что я — трус, гордо отпихнул ногой скамейку. Свет блеснул перед глазами, и потом все залилось тьмой.

Свои представления о переживании смертников я хотел проверить, спрашивая осторожно их самих, что они думают, ожидая каждую ночь смерти. Надо мной сидел учитель Богородицкой народной школы, присужденный к смертной казни за крупный экс. Его вот-вот должны были повесить. Он все ночи напролет ходил из угла в угол. Днем затихал. В конце-концов его не повесили, и казнь заменили вечной каторгой. Не узнать его

было потом: он стал розовый, жизнерадостный. Я с ним разговорился на прогулке.

— Воображаю, что вы пережили?

— Что пережил? Да разве это передашь? Конечно, умирать не хотелось; не хотелось потому, что внутри точно сидел кто-то и зудил: «Умрешь, а после тебя все так же будет светить солнце, зеленеть трава, птицы петь». Было нечто в роде зависти к остающимся в жизни. Как с неизбежным, мирился. И смерть не казалась страшной. Миг... и все окостенеет. Главное — мыслить не будешь. А вот, когда сидишь ночью и — вдруг слышишь человеческие шаги по корридору, ну — тут всего тебя в пот бросает, а как откроется дверь камеры, как увидишь палачей в глаза и — ничего. Сознание как бы оттаивает, и тебе не хочется слабым показаться: ведь, все равно — повесят. Я тогда примирился со смертью, и виду бы не подал врагам, что жизнь люблю. А умирать не хотелось. Ах, как не хотелось умирать! Кажется, куда хуже мое теперешнее положение: я — вечник, а мне хорошо. Я голубей на-днях приучил к себе на окно, и они такие милые, что из-за них жить хочется. Нет, лучше жизнь на каторге, чем свобода в смерти.

И было заметно в тюрьме, как люди себя оберегали. Дома другого к мытью не тянуло, а в тюрьме каждый старался чистым быть. Чтобы укрепить нервы,— гимнастикой занимались. Это была жизненная форма борьбы людей неволи с людьми, их посадившими. В таких условиях у каждого вырабатывался свой маленький мирок — мир фантазий жизни вне тюрьмы. У каждого из арестованных за стенами тюрьмы был кто-нибудь свой. Большинство было с ними связано и не теряло надежд встретиться с ними, хотя бы через много лет. Но были люди совершенно одинокие. К таким, казалось мне, принадлежал и я.

В самом деле, у меня есть отец. Но что у нас с ним общего? Кровная связь? Мало.— Родной брат? Он сослан правительством Николая. Встретимся ли?— Друзья? Время убивает дружбу, и там, на воле у них будут новые.— Рабочий класс? Но, ведь, я — маленький кирпич большого здания, великого и не разрушающегося и без этого кирпича.— А еще кто? Кто еще у меня есть в жизни близкий? Нет ничего ближе стен тюрьмы и среди них я — одинокий. Кому я нужен?

От таких мыслей, я чувствовал, я брюзг, смех был противен, и характер тяжелел. Одиночество, как гиря, тяжесть увеличивало.

Округляясь, падали годы, — я сидел. Население тюрьмы менялось: одни уходили, другие появлялись. Нередки были случаи среди уголовных: утром выпустят, а вечером он опять в тюрьме.

— Засыпался? — спрашивают и не удивляются.

— До первого воза дошел, — признается, — свита на возу. Я ее за полу, а фраер, душа из него вон, застукал.

— Теперь в роты пойдешь, — решали хладнокровно.

— А не все ли нам равно, — ухарски отвечает поймавшийся.

И снова идут мерной поступью тюремные годы. Уходят люди совсем, уходят временно. Кто не знает, что его ждет, грустит; кто на отсидке, дни считает. Ушел Юдовский, до суда освободили. Ушли три солдата. Еще многие ушли, совсем ушли и не вернулись к борьбе. На воле что-то другое творилось, непохожее на прежнее. Многие стыдились называть себя социалистами, и в моде было «огарчество». Живи для себя и ни о ком не думай! Все это я знал по слухам да по литературе, что в тюрьму попадала.

Переписки я не вел, — не с кем было. Домой писал: жив, здоров, чувствую себя хорошо и ни в чем не нуждаюсь. Неловко же было говорить, что бедствую. Сам знал, куда шел.

Ответы были из дому, в год раз: старуха крестная отвечала: «Все, слава богу, живы и здоровы, кланяемся». Шесть имен домашних, шесть родни, да столько же знакомых. Такие письма жандармы поджаривали на огне, думая, что настоящее написано секретными чернилами, и проявляли желтой краской крест-накрест, ища в письме преступных сообщений. Мог бы еще переписываться я с братом, но ни он, ни я не ведали, кто где. Друзья были далеко, а та, которую любил, и думать забыла. Старался и я забыть ее. Вообще не надо любить. Кто любит, тот — мягок, а я хочу быть черствым. Вот попаду в Орловскую тюрьму, выпорят меня — и все кончено. Тогда не захочешь жить. Задерешься с кем из начальства — и добьют.

А, впрочем, не все ли равно: буду я жить или нет?

Весною, когда снег растопило, и в камеру ворвался ветер вешний и принес запах земли талой, мне передали письмо на

поверке. Я сразу узнал ее почерк. «Друг мой Аркадий, писала, я окончательно разочаровалась в людях. Скоро вернусь в Тулу и непременно буду у вас».

Все было написано просто, без жеманства: старый друг писал. Я так же просто ответил. Началась переписка. А, спустя немного, она приехала на свидание. Тюремные церберы изумились. Она добилась личного свидания.

Старший надзиратель Ильич, ведавший свиданиями, пришел за мной.

— Господин Фролов, идите скорей на свидание, к вам дама приехала.

Специального жандарма прислали присутствовать на свидании.

И стала приходить на свидание и много писем присылала.

Стал я гимнастикой заниматься. Разденешься до-гола и пошел проделывать восемнадцать номеров Мюллера. Первое время надзиратели никак не могли сообразить, как им реагировать на сие: прямо запрещать, или докладывать по начальству, что арестант-де в голом виде руками машет, то на живот ложится, бараном из стороны в сторону головой двигает.

В начале решили, что это признак сумасшествия, а когда узнали, в чем дело, и что запретить этого нельзя, то чуть увидит надзиратель в волчок голого, сплюнет и отойдет. Гимнастика укрепляла здорово. Прорепетируешь восемнадцать номеров, оботрешься холодной водой,— горит тело, молодеет. И никакая тюрьма не страшна. Жить, жить! Начал почитывать. Прикинул в голове: отсижу лет десять, не умру. Да и не совсем стар буду. Поскорей бы только суд. Суд приближался.

Незадолго до суда попал мне в руки труд присяжного поверенного Беренштама, попытавшегося поставить вопрос: что влияет больше на психологию судей — состав преступления, изложенного в обвинительном акте, или впечатление, произведенное самим обвиняемым? В своих наблюдениях на политических процессах Беренштам пришел к выводу, что суровые приговоры часто выпадали на долю лиц, внешним видом подчеркивавших враждебное отношение ко всему существующему.

Это резко мне врезалось в память, и я тогда же смекнул: «Стой! Проверил на опыте».

Настал день суда. С'ехались лучшие адвокатские силы: присяжные поверенные Ордынский, Воинов, Керенский, Зак и местный — Черносвитов. За день ознакомились с делом и заглянули к нам посоветоваться, как поставить дело защиты. Решено было защищать персонально, так как от признания себя членами с.-д. р. п. мы отказались. Серьезными обвиняемыми по делу были: Федоров, я, Ахматов и Брумштейн. На мою долю персональным защитником достался Воинов. Ордынский защищал Федорова, Керенский — Ахматова, и Зак — Брумштейна, а все вместе — остальных.

— Самое главное, не держите себя вызывающе,— говорили они. — Состав суда самый отвратительный. Время реакционное, но волна мести спала. Освобождения не ждите. Главное, будем отбивать каторгу.

С вечера стали готовиться на суд. Год назад я думал произнести на суде речь, чтобы с треском быть осужденным, теперь я решил тактически в суде продефилировать незаметным, маленьким. Захотелось померяться с врагами не в открытом бою, а хитростью. На их стороне был вековой аппарат: следственный, судейский и тюремный. Задавить маленького человека им ничего не стоило. Защита не поможет. Надо предпринять что-то такое, чтобы схватить судей за главный винтик,— за психологию.

Стоп! — размышляю. Они судят социалистов. Признавайся— не признавайся, все зависит от материала. Что у меня? Прокламация об организации профсоюза приказчиков, найденная у Брумштейна? Пустяки: 130 статья! Протоколы комитетских заседаний, где я фигурирую, как Ярцев. Но нигде не установлено, что Ярцев есть Фролов. Показание провокатора — солдата Совы, что меня, как Ярцева, он видел на солдатской массовке, произносившим речь? Но провокатор сам сидит на гауптвахте, обвиняемый в распространении прокламаций и в краже сапог. Его показания несерьезны и часть солдат освобождена. Прежняя судимость? Но это было давно.

С юридической стороны дело еще не так плохо. Большой козырь у меня, что я работал хроникером и беллетристом в местных газетах, что и по делу известно. Надо только внешне

не быть похожим на «крамольника». Обычный вид социалиста: бледное лицо, редко — расчесанные волосы, чаще — длинные, спутанные, черная рубашка или не по росту костюм, взгляд живой, бегающий и пронзительный, голос нервный, речь быстрая, как из пулемета жарит,— сразу видно, что говорун. Погоди, зевка не дам, дело поправлю. Ставлю вопрос так: я — хроникер, беллетрист и — ни гвоздя больше.

Зову парикмахера-арестанта и говорю: ну-ка, друг, сделай бородку «испаночкой» и волосы—под третий номер. Готово. Развожу в стакане сахар и сладким чаем голову мажу. Волоса слиплись. Я их сейчас же рукой ерошить, чтобы они завились немного. Сделано. Из дома велел принести глухую жилетку, пиджак и рубашку «фантазию», тогда носили их, с завязочками. Принесли.

Утром встал, расчесал волосы, тронул их слегка черненьким фиксатуаром, оделся, посмотрелся в осколок зеркала и даже сам не узнал себя. Не Фролов, а — хроникер, типичный хроникер Царевококшайской паршивой газетки!

На скамье подсудимых решил сидеть, опустив голову и ни с кем не разговаривать, чтобы дать понять, что все это меня пришибло. А чтобы при задаваемых вопросах своим голосом не навести на мысль, что я — агитатор, решил отвечать тихим, пришибленным, дрожащим от волнения голосом.

Роль разыграл блестяще.

Рано утром под сильным конным и пешим конвоем нас торжественно препроводили на суд.

Суд состоял из председателя Уголовного Департамента Московской Судебной Палаты — Зорина, членов: Циммермана и Шадрусского, предводителя дворянства — Салтыкова, городского головы — Богатырева и старшины Татевской волости — Ермилова.

Нас, приведенных из тюрьмы: меня, Федорова, Брумштейна, Жуковского, Панькова и Кричевского,— посадили на скамью подсудимых за решетку, а судившиеся с воли — Юдовский, Коган, Бендиков, Розановский и др. сели на вольных скамьях.

Торопливо, без особой торжественности пришли судьи и шумно заняли места. Почувствовалось, что это пришли люди «дела», а не красивых слов и жестов.

Я поместился с краю, около двери и, не поднимая головы, поглядел на судей. Циммерман был маленький, лысый старикашка,

красный, как вареный рак, с трафаретным чиновничьим лицом. Зорин выглядел строже, но не так, чтобы уж очень свирепо. Они на нас почти и не посмотрели, продолжая начатый разговор. Впился в нас глазами один Шадрусский. Сразу было видно, что это не просто защитник правительства, но и ярый его защитник. Он был не стар, лет сорока восьми, с лицом человека не глупого, знающего практически жизнь и умеющего в ней ориентироваться не по аршину закона, а по природной сметке. Он за стол сел не судить, а осудить. Мы были для него не только враги правительства, но и личные враги его.

Как только он сел за стол, тотчас же взял в руки дело и внимательно его пробежал. И председатель больше обращался к нему, чем к Циммерману. Дальнейшее показало, что всем судом руководил Шадрусский. Свою ненависть к нам он даже не мог скрыть под мундиром чиновника и позволял себе вещи совершенно недопустимые. Когда Керенский начал суду что-то доказывать,— а он и Зак, как молодые горячие защитники, то и дело просили слова,— Шадрусский откровенно вслух заметил:

— Что бы вы ни говорили, мы вам не верим. Знаем мы вас.

И никто не запротестовал; это было сказано с улыбочкой, тихо, как бы по-приятельски.

А когда выяснилось, что Федоров в Баку осужден на вечное поселение, Шадрусский злобно произнес:

— Очень жаль, что его не повесили.

Перед нами был враг открытый, жестокий. Его можно было взять только тонким обманом. Когда нам всем стали задавать вопрос, признаем ли мы себя виновными, и все шаблонно отвечали: «нет, нет», Шадрусский, как зверь когтями, вонзался глазами в каждого из нас. Он не верил нам и радовался, что заставил нас отрекаться.

— Отвечайте суду громче,— сказал он мне, когда я еле-еле процедил слова отречения: «виновным себя не признаю».

В своей роли я уже входил в азарт. Я следил только за собой и за Шадрусским. Я сидел, низко опустив голову, как человек, случайно попавший, как человек, не имевший ничего общего с этим делом. Я ни с кем не разговаривал. Во время процесса в зал пришел местный полковник, жандарм Павлов,

который вел все наше дело. Он пришел полюбоваться на работу рук своих, но адвокатура попросила суд, чтобы он удалился, мотивируя это тем, что своим присутствием он может влиять на показания свидетелей.

Под конвоем ввели главного свидетеля, провокатора-солдата. Судьи невольно переглянулись: «Главный свидетель — и под конвоем!».

Спросили, что он знает по нашему делу. Солдат рассказал, что такие-то и такие-то солдаты занимались противоправительственной работой, раздавали литературу и устроили военную сходку на берегу реки Воронки, но в каком доме, он не запомнил, а кто на этом собрании был... он стал глазами искать на скамье подсудимых, кто был.

Я поднял голову, в полной уверенности, что он меня не узнает, ибо тогда я был бритый, длинноволосый, а на этот раз, с бородкой и курчавый. Он замялся.

— Кажется, вот этот,— неуверенно указал он на меня.

— А еще кто? — спросил Зорин.

— Еще не припомню.

— Вы, господин прокурор, имеете что спросить? — обратился председатель.

Высокого роста, скуластый прокурор все время взлохмачивал волосы и почти безучастно относился к процессу.

— Нет, — буркнул он.

— Господа защитники, вы?

И защита взяла его в работу.

Керенский: Господин свидетель, не видели ли вы когда-нибудь, чтобы обвиняемые распространяли в казармах прокламации?

Свидетель: Нет, но они давали солдатам книжки.

Ордынский: А вы сами, господин свидетель, не распространяли прокламаций?

Свидетель: Нет.

Зак: А в чем вы сейчас обвиняетесь?

Председатель суда: Это к делу отношения не имеет, господин защитник.

Зак: Виноват.

Керенский: Защита просит огласить справку о судимости свидетеля Совы.

Ордынский: А вы, господин свидетель, не состоите агентом в жандармском управлении?

Свидетель: Нет.

Шадрусский: Прошу таких вопросов не задавать.

Черносвитов: Господин свидетель, не угощали ли вас жандармы котлетами?

В публике — смех.

Председатель: Я закрою двери суда. Господа защитники, спрашивайте свидетеля только по отношению к данному делу.

Керенский: Защита больше не имеет вопросов. Но просит допросить свидетелей военных со стороны обвиняемых.

Входит ротный командир:

— По данному делу я могу сказать одно, что обвиняемые солдаты моей роты были самыми образцовыми солдатами, при них в роте подозрительного ничего не было, а после их ареста стали появляться листочки, которые были обнаружены у солдата Совы. Этот солдат — темный и попался...

— Довольно, господин свидетель, — остановил председатель. — Господин прокурор, вы имеете что спросить?

Прокурор: Нет.

Председатель: Вы, господа защита?

Керенский: Нет.

Председатель — свидетелю: Вы свободны. — Судебному приставу: Введите свидетеля такого-то.

Размашисто, по-военному, входит бравый молодой солдат и становится перед судом во-фронт. Все глаза устремлены на него.

Председатель: Что вы можете сказать?

Солдат: Так что, ваше благородие, Сова хвалился нам, что ему каждый день дают котлеты и что он теперь никого не боится и всех запечет...

Председатель: Постой, постой, друг. Ты — по-порядку, не спеши. Какие котлеты, кого кто запечет? Ты говори толком.

Солдат: Так вот, ваше благородие, как наших солдат, значит, на гауптвахту арестовали, Сова и говорит, что их я запек. Потому, значит, против правительства. А ему за это, значит, начальство котлеты за выслугу. Потому — боится его. Он, значит, как на другой службе агентом состоит. А потом, как, значит, он перестал бояться и запек, то сапоги украл.

После опроса самого главного военного свидетеля, атмосфера несколько разрядилась. Наш арест совпал с арестом думской с.-д. фракции, которой тоже вменялось в вину, что она ведет работу в войсках, и правительству был бы дан большой козырь: если не вы лично работали среди войск, то ваши организации на местах. Но в нашем процессе создать это на показании провокатора не удалось, вещественных же документов никаких не было. Оставалась у суда лишь подробная запись заседаний комитета, да что у каждого в отдельности было найдено. На основании этого они должны были всех нас связать и слепить «тайное сообщество».

Второй день суда. Публики больше, но интереса к процессу меньше. Рассматриваются вещественные доказательства и задаются вопросы: признаем ли мы их своими? Вызывают всех к столу. По бокам становятся защитники, а впереди смотрят на тебя шесть пар судейских глаз. Они не безразличны, они смотрят так, что видят всякое движение твоего лицевого мускула. Они хотят проникнуть под твой череп, чтобы узнать, где в твоих словах правда, где ложь и что ты за враг. Чтобы ближе быть к твоему лицу, они перегибались через стол, и чувствовалось их тяжелое старческое дыхание. Прямо в глаза смотреть им можно было только или когда их боишься, или когда хочешь бросить им слова открытого борца: «Вешайте, но не ждите пощады и от нас».

При системе защиты, избранной нами, когда думалось «и невинность соблюсти и капитал приобрести», т.-е. дешевле отделаться, глаза на судей не поднимались. Это было самое поганое состояние, когда, с одной стороны, ты должен своим заклятым врагам сказать острую правду, а с другой — принятое решение твердило: лги, но с достоинством, держись, как борец, и притом выпутывайся, чтобы тебя не очень засудили. И, уже подходя к столу, я чувствовал, как внутри у меня идет страшная борьба. Сам себе стал противен. Задрожал от досады.

Мое волнение передалось судьям. Они учли его, как страх перед ними. Насторожились. Впились глазами. Их чиновничьи сухие души при виде моей захудалой мещанской внешности,

поняли так, что перед ними загнанный человек, который сейчас изольет всю свою душу.

— Так отвечайте же, — произнес председатель.

— Говорите, говорите, — зашептали с двух сторон Воинов и Зак.

Я не мог. Я сжимал себя. Во мне боролись два чувства.

— Да говорите же, — резко бросил Шадрусский.

Я немного поднял голову и тихим, дрожащим голосом начал:

— Прокламация, найденная у Брумштейна, написана мною... Самого Брумштейна я не знаю... Ни к какой организации не принадлежу. Я в Туле известен, как сотрудник местных газет, и мои газетные рассказы несомненно знакомы господину городскому голове. Как хроникер, я по ходу своей работы часто делаю одолжения людям, которые дают мне хронику. Хроника — мой заработок. Прокламацию об организации профессионального союза приказчиков я написал знакомым приказчикам, которые обратились ко мне, как к человеку, занимавшемуся писательством. Я должен был это сделать, чтобы иметь лишних друзей для получения хроникерского материала. Давно, в молодости, работал в организации, но теперь — только газетный работник.

— Мне вас защищать теперь не придется, — сказал Воинов, когда мы отходили от стола.

А Зак добавил: — Вы на судей произвели такое впечатление, что вас могут оправдать.

После этого произнес громовую речь прокурор, требуя применения к нам наказания полностью. Произнесли деловые речи защитники, и суд удалился на совещание.

Кто судился, знает, что такое часы ожидания приговора. В эти часы часто решается судьба человека: быть ему или не быть. Время, как нарочно, идет медленно. Кто имеет религиозные предрассудки тот в эти часы молит своего бога, чтобы судьи оправдали его, кто немножко знает уголовное уложение и понимает суд, тот начинает взвешивать, что у него «за» и что «против», и, на основании сопоставлений, строит предположение, каков будет приговор; другие сидят, понуря голову, и ждут, как «закатают». А там, в таинственной комнате, сидят люди режима и, открыв листы

напечатанной бумаги, которая именуется «законом», ерзают по ней глазами, ища место, где было-бы сказано: за это надлежит дать человеку столько-то лет тюрьмы. Перед ними встает образ обвиняемого и, если этот образ не раздражающе действует, не злит,— для него ищут что-нибудь смягчающее вину ежели образ— как хребет щучий, жесткий, колючий, для него подыскивают меру покруче. Закон, как глина: что хочешь, то и слепишь.

И вот, на основании царского закона, нам вынесли приговор:

По указу его императорского величества, московская судебная палата в составе таком-то слушала дело об Ивановой, Жуковском, Юдовском, Смирнове, Когане, Брумштейне, Федорове, Фролове, Панькове, Кричевском, Бендикове, Варшавском, Ахматове и Розановском, которые, проживая в Туле, приняли участие в преступном сообществе, тульской организации Российской с.-д. рабочей партии, поставившей ближайшей целью своей деятельности насильственное посягательство на изменение законами установленного образа правления на демократическую республику и ниспровержение общественного строя и замену его новым, на началах социализма. Сообщество состояло из отдельных организаций: военной, пролетарской, боевой, крестьянской и об'единялось в своей деятельности особым учреждением, присвоившим себе наименование «Руководящего Коллектива Тульской Организации.

Входя в состав «коллектива», Федоров принимал участие в партийных собраниях под именем «товарища Степана Лебеда», или «Степана», участвовал в качестве делегата от тульской организации на Лондонском с'езде представителей Р.С.-Д.Р.П., извещая оттуда письменно членов одной с ним партии о ходе заседаний с'езда и давал им соответствующие указания по делам организации, посещал квартиру члена сообщества — обвиняемого Брумштейна, именовавшего себе нелегально Фридлевским, — где и был задержан.

Обвиняемый Жуковский имел у себя 58 прокламаций «Избирательная платформа», призывающей к ниспровержению существующего строя, 38 прокламаций «Заявление Соц.-Дем. фракции», опубликованного представителем фракции Церетелли на заседании Государственной Думы 6 марта в ответ на декларацию Председателя Совета Министров Столыпина, 134 прокламации «Рабочие и работницы» и др.

Ахматов участвовал под именем «тов. Семена» в собраниях сообщества, состоял секретарем «Руководящего Коллектива», имел у себя в квартире медную печать, два подложных паспорта, протоколы, отчеты, резолюции и постановления «Руководящего Коллектива Тульской Организации Р.С.-Д.Р.П.» за разное время и по различным вопросам партийным и внутреннему распорядку в местных организациях, материалы и письма Центрального Комитета, переписку по издательской деятельности Тульского Комитета до раскола, рукописные оригиналы прокламаций, собственноручные его, Ахматова, записки по делам организации, прокламации: «К гражданам», «Крестьяне, к вам наше слово», «Кровавый царь», «Он продает» и др., изданные для солдат, а также занимался устною пропагандою среди нижних чинов местного гарнизона, причем в доме Смирнова среди собравшихся там нижних чинов произнес речь, доказывая, что обвал потолка во Второй Думе устроен правительством, что солдатам и рабочему классу живется тяжело, и что, поэтому, нужно отнять власть у правительства.

Обвиняемый Юдовский, входя в состав «Коллектива», посещал собрания и обсуждал на них партийные вопросы под именем «Бориса», имел чековые книжки для сбора денег; Коган, входя в состав «Коллектива» и, будучи членом военной организации, состоял секретарем сообщества и участвовал на собраниях под именем «товарища Владимира», посещал квартиры членов сообщества — нелегального Фридлевского и Ахматова, у которых и был застигнут во время обысков; Фролов, входя в состав «Коллектива» и, будучи членом военной организации в качестве члена преступного сообщества, участвовал в партийных собраниях и обсуждал партийные вопросы под именем «товарища Аркадия» и «товарища Ярцева», составил для напечатания и распространения прокламацию «К приказчикам города Тулы», черновик которой был найден у Брумштейна, с призывом организовываться в профессиональный союз для борьбы с хозяевами, состоял в переписке с членами того же сообщества, посылал им партийную литературу и написал, между прочим, одному из них письмо за подписью «Аркадий», относительно высланной им литературы и с призывом усилить во всех местах, а также и среди солдат, организационную работу, вести пропаганду и агитацию о неплатеже податей, неисполнении

воинской повинности, смещении властей, захвате земель и пр., имел у себя «программу Российской Соц.-Дем. Рабоч. Партии» и, как член военной организации, произнес речь перед солдатами 10 Новоингерманландского полка, в доме Смирнова, призывая нижних чинов изменять присяге, не повиноваться начальству, свергнуть царствующий дом Романовых и с оружием в руках перейти на сторону рабочей партии, в случае выступления последней на борьбу за власть с ныне существующим правительством. Унтерофицер Паньков, входя в состав военной организации, тайно вел агитацию и пропаганду в казармах, призывал изменять присяге, не повиноваться начальству, доказывал необходимость изменить существующий строй. Вместе с другими в доме Смирнова произносил речи с призывом отбирать у помещиков землю и свергнуть правительство. Дал солдату Сове и Мендзержицкому № 6 «Солдатской газеты».

Обо всех остальных в том же роде.

Преступление, в коем признаны виновными подсудимые Федоров, Жуковский, Брумштейн и Ахматов, предусмотрено 1 ч. 102 ст. уголовного уложения и влечет за собою каторгу не свыше восьми лет. Особое присутствие назначает подсудимому Федорову, осужденному тифлисской судебной палатой по 1 ч. 102 ст. уголовного уложения на вечное поселение, четыре года каторги, поглощая на основании 60 ст. уголовного уложения приговор тифлисской судебной палаты; находя затем в обстоятельствах дела основание к оказанию снисхождения подсудимым Жуковскому, Брумштейну, Ахматову, руководствуясь ст. 53, каторгу заменить ссылкой на поселение. Преступление, в коем признаны виновными подсудимые Юдовский, Коган, Фролов, Паньков и Кричевский, предусмотрено 1 ч. 126 ст. уголовн. улож. и влечет за собою или каторгу на срок не свыше восьми лет, или ссылку на поселение. Избирая, по обстоятельствам дела, при определении названным подсудимым наказаний из означенных наказаний ссылку на поселение и усматривая в тех же обстоятельствах основание для оказания всем этим подсудимым снисхождения на основании ст. 53, Судебная палата переходит от ссылки к заключению в крепости и полагает определить таковое Фролову и Панькову на два года каждому, Когану и Смирнову на один год и шесть месяцев каждому, Юдовскому и Кричевскому по году

каждому. Когану и Смирнову, как несовершеннолетним, наказание уменьшить на одну треть. Розановского и Бендикова оправдать. Иванова на суд не явилась и дело о ней выделить.

Получив два года крепости, я в тюрьму шел, как именинник. Теперь я буду сидеть не на царя, а на себя. Каждый день будет приближать меня к свободе. Уже день прошел. Осталось семьсот двадцать девять дней. Завтра тоже считать нечего. Время пролетит незаметно. Надо его использовать. Надо усиленно заниматься, чтобы нагнать потерянное. Поклон, полученный мною с воли от Стрекопытова, вернул меня к мысли о литературной работе. Я писал как-то статьи о скобяной промышленности, где доказывал, что необходимо перейти к машинному производству. Стрекопытов в свое время прочел три статьи и сделал из них необходимые выводы. Служа управляющим в скобяных производствах, Стрекопытов заметил, что русские фабриканты прогорают,— их забивает заграница, забивает техника. Он стал мечтать тогда о своем деле. Но средств не было. Ему хотелось поставить скобяное дело в хорошо оборудованном предприятии. Он съездил в Германию и специально изучил там постановку скобяной промышленности. Привезенные немцами и даже Польшей машины, станки и приспособления в этой отрасли промышленности показали ему, что русские промышленники, если не перейдут на машинную обработку, обречены на гибель. Он стал искать среди тульских фабрикантов компаньона, который дал бы денег для постановки дела по европейскому образцу. Над ним стали смеяться. Он был всю жизнь служащим, ничего не сумел нажить. Поэтому фабриканты смотрели на него, как на фантазера, вздумавшего на старости поправить свои делишки. К тому же многие знали его еще, как свободомыслящего, имеющего детей-крамольников.

Однако, Стрекопытов не унывал. Он понял, что должен притти кто-то новый и по-новому поставить в России производство. Он ясно видел, что, при отсталой технике, фабрикант будет вытеснен заграничным, более умным капиталистом. На насмешки он не обращал внимания и упорно шел к своей цели. Не имея возможности добыть денег, он придумал тогда новый оконный

и дверной прибор, запатентовал его и снова бросился к [illegible]кантам-скобянщикам, предлагая им начать с ним дело на [illegible] началах.

— Брось ты, Васька, эту затею, — журили его приятели. — Какое там еще изобретение! Люди сотни лет запирают [illegible] двери нашим товаром и даже слепые знают, как с ним [illegible]щаться, а ты какие-то новости предлагаешь! Что мы — [illegible] что ли? Мы, брат, по-старому, как отцы наши и деды. И, [illegible] богу, едим хлеб и другим даем. Нам не до жиру, [illegible], а на наш век хватит.

И никто не понимал Стрекопытова, никто [illegible] в компанию. Он ходил [illegible], он [illegible] пороги [illegible] посматривали, как на человека, у которого [illegible] в порядке. И если бы не случай, все [illegible] бы. В [illegible]ской губернии жил маленький купец. Как и каждого [illegible] купца, Москва его притягивала. Годами деньги [illegible], [illegible] обвешивали на простых весах, десятичных сами [illegible], [illegible] срывались в Москву святых смотреть и цыган слушать. [illegible] кнулся такой купец, Смирнов, со Стрекопытовым. [illegible] человек не молодой, поговорить [illegible] Москву [illegible] провинциального купца ничего [illegible] не стоило. [illegible], а потом — о делах. Заинтересовался тот прибором [illegible], да и прибыль, казалось, от дела должна была быть. [illegible] тысяч, и заключили договор.

Стрекопытов вернулся [illegible] и начал дело. [illegible]вать стал. Сам жил больше в Москве, старался [illegible] свои новые приборы через крупную московскую фирму [illegible], а на фабрике временно был Смирнов.

Сижу я два года в крепости, читаю, занимаюсь, [illegible] готовлюсь к работе журналиста. А возьмусь что-нибудь писать, — ни туда ни сюда. Недостает чего-то, должно быть, самого главного. «Недотепа», должно быть, я, — думаю про себя. [illegible], про таких, думалось, Горький сказал: «ни сказок про них не [illegible] скажут, ни песен про них не споют».

О настроениях своих я рассказал Юдовскому. Он [illegible] мне, что человек живет на свете, чтобы бороться [illegible]

с источниками смерти, т.-е. с людьми, которые создают условия жизни для человека такие, где он дохнет, как таракан. И до тех пор, пока человек не победит смерть, он не будет иметь покоя и всегда будет бороться. Значит, жизнь есть вечная борьба, и человек живет в ней для борьбы.

Улеглось шумливое море революционной бури. Тихо на воле, тихо в тюрьме. Как после жестокой битвы, поле брани усеяно раненными. Стонала Россия под игом реакции. Победитель-правительство праздновало победу. Ему мнилось, что самая сильная крепость, шедшая против него, армия рабочих разбита на-голову, часть вождей бежала, часть в плену, часть убита. Побежденные мужей не имеют, и кто и сочувствовал рабочим раньше, из прежних попутчиков, ушел от них. Началось искание новой «правды», «веры», нового «смысла жизни». Озарчество разгуливало с гармоньем, «детский крик на лужайке» мутил голову пропивавшей молодость молодежи, «лига свободной любви» выбрасывала на улицу с каждым десяток проституток.

Оставался рабочий один со своей старой правдой.

Приближался день моего освобождения. Делать ничего не хотелось. Дни казались длинными-предлинными, часы черепахами ползли. Разные мысли в голову лезли. Наряду с серьезными, тяжелая глупость в голову шла, уснуть бы сейчас и проспать, не считая, полгода, а потом — гайда на волю!

Незадолго до выхода письмо получил от Стрекопытова. Пишет: Саша, выходи скорей. Есть для тебя интересная работа, по твоей специальности». «Какая, — гадаю, — у него для меня работа?». А все же приятно, — работа будет. Скорей бы только — сутками! — дни летели. Побаивался: как бы жандармы нового не придумали. Выжил, да опять мутить начнет. Тюрьма полицейских с каждым днем редела: на расход писали, на приход — тащили. Как вышел кто, точно в воду канул — ни слуха, ни духа. Разъезжались.

Как ни говори, а пять лет подряд посидеть в тюрьме что-нибудь да значит. Не только администрация, все уголовные в лицо и по имени знали. За пять лет уйма прошений мною было написано им, много с ними общего было пережито. Они видели — и что мне с воли приносили, и какие я выписки делал, и как ко мне администрация относилась, и как я — к ней. По субботам полы в камере я сам мою, а что полагается — корридорному за это выписываешь. Арестантам это нравилось.

— Фролов — свой парень, из самоварщиков,— улыбаются — и сидит, слава богу, не меньше нашего.

Был и такой случай: один арестант, конокрад Гусев, разболтался как-то в уборной, что его приятель устроил хороший экс и, «заработав» на этом деле кучу денег, купил имение. Живет теперь, как помещик. Я не выдержал и рубанул: «Так он стал помещиком? Я бы его собственными руками задушил».

На меня набросились эксы и Гусев. Гусев схватил тяжелую парашу и поднял ее над моей головой. Вступился кандальник Васька Булка.

— Оставь,— строго сказал он, отстраняя руку.— Для нас Фролов — хороший арестант, а что он про эксов сказал — это дело их нее, политическое, и тебе, шкапе, сюда нечего вмешиваться. Я сам против политики, они — враги наши. Они много наших погубили в 905 году. Они — против воровства. Но в тюрьме мы все одинаковы. Хорош, как арестант, значит всем хорош. Не тронь и ступай в камеру.

С арестантами я сжился и последние годы сначастую гулял с ними вместе, стараясь ближе узнать их мир.

Сжился я с ними, как с тюремными стенами. Я знал каждый тюремный уголок, на моих глазах маленькое деревцо в стене стало большим.

И вот, когда часовая стрелка моих часов показала время окончания моего сидения по приговору, в камеру пришел старший надзиратель Ильич, уже сильно постаревший, сгорбленный, не такой, как в 902 году, и сказал:

— Господин Фролов, вы — свободны. Поздравляю вас от чистого сердца... И желаю, чтоб вы никогда больше не сидели. С вас — довольно... Пожалуйте в контору.

— Прощайте, прощайте, господин Фролов,— кричали на прогулке арестанты, снимая и комкая серые круглые шапки.

— Прощайте, Фролов, — пробасил и привратник, захлопнув за мной калитку.

В конторе ждала меня Шура.

На воле! Все, что пережито, осталось позади. С новой жизнью я не был знаком. Многое, очень многое резко переменилось. Константинов и «Барон» жили в Москве, Камаев — в Питере. Одиноко коротала свою жизнь «мамаша», часто вспоминая бурные дни нашей молодости. Кто пришел в эти годы на смену, я не знал. «Старики» же были те же борцы и по первому зову ринулись бы в битву. Новое и им было не всем понятно.

На другой день был у Стрекопытова. Постарел немного, но пополнел, и лицо стало глаже. Встретил меня так, словно вчера расстались, а не десять лет назад.

— Ну, что, Саша, мое письмо получил?

Я кивнул головой. Не понравился мне сначала тон Стрекопытова. В его обращении со мной чувствовалось покровительство и самодовольство обеспеченного человека. Он бессознательно, всем своим существом, выпирал: «Вчера — вы, социалисты, сегодня — мы, новые, и глупее вас люди начинаем прокладывать дорогу в жизни».

— Я хочу предложить тебе место управляющего моей фабрикой, — заметил он. Дело интересное и с большим будущим. Рабочих мне бояться нечего, я — вне конкуренции. Я буду платить им больше, чем другие фабриканты, а развовью дело, поставлю самые лучшие американские станки, пайщиками рабочих сделаю. Мне тебе доказывать нечего, — ты меня знаешь. Если я когда-то своих сыновей рабочей партии отдал, то теперь, став фабрикантом, я их же послал хлеб зарабатывать себе в чужие люди. Выучись, потри лямку, пройди хорошую школу, а потом уж приходи к отцу, но дело делать, а не папенькиным сынком быть. Если бы ты, Саша, послушал теперь Генашку — он на мои деньги учится, — как он поет! Ой, красота! Массини утверждает, что из него второй Шаляпин выйдет. Я не жалею, что на него деньги трачу.. Так вот, Саша, свои организаторские

способности примени теперь в производстве. Ты будешь в нем полный хозяин. Я постоянно живу в Москве, а мой компаньон временно здесь. Я хочу отделаться от него: он не подходит в этом деле, и от тебя будет зависеть повернуть гайку так, чтобы, понимаешь, он сам отказался. Он скоро будет здесь, и я тебя с ним познакомлю. Я уже говорил ему о тебе.

Мы сидели наверху, во втором этаже большого старого дома. Внизу, под нами, помещалась мастерская; во дворе, в маленьких избенках были также мастерские; сзади стоял запущенный, густой сад. На всю фабрику, в сто человек, был один приказчик Тимофей, из солдат, маленький сынишка Стрекопытова, да компаньон. Большинство рабочих были «сознательные». Дело, действительно, было поставлено так, что сами рабочие были в нем заинтересованы. Стрекопытов сумел вдохнуть в них интерес. Скобяной прибор, вырабатывавшийся на фабрике, был изобретение Стрекопытова. Патент защищал его от конкурентов и, выбрасывая на рынок монопольный товар, он брал за него, сколько хотел. Свой товар он продавал сам, а рабочим ловко внушал: — «Вы — рабочие, я — продавец вашей работы. Плоха будет выработка — лопнем, понравится товар — от заказов отбою не будет, расценку себе сами назначите».

И рабочие следили не только за собой, но за всем делом. На фабрике не были установлены определенные часы работы. Внутренний распорядок в мастерских висел, а работали — кому как бог на душу положит. Но так как расценка была высокая, прогуливать было обидно. И рабочие положили часы: с семи до шести, два — на обед. А если кто не являлся на работу, спрашивать нечего. И булавка не ускользала от глаз самого. Наезжал из Москвы «новый капиталист» каждую неделю и, как возьмет расчетные книжки мастеров, пробежит их — так и видит, кто сколько заработал. Заглянет потом в мастерскую, подойдет к рабочему, который мало заработал, и спросит: — Ты что Коновалов, болел что-ли?

— Кто, я-то? С чего вы взяли, Василий Филиппович? Слава богу, нет. Я все время работаю.

— А что-ж ты мало заработал?

Да я, Василий Филиппович, стараюсь.

— Гулял, небось?

— Был грех, был, — поддакивают соседи. — Чего скрываешь-то? Говори напрямик. Жена у него родила на-днях, Василий Филиппович... И сразу двух: одного скобянщика, другого петельщика.

— Так ты уж теперь подтянись, Коновалов, а то, право, неловко: Пушкин двенадцать в неделю заработал, а ты восемь. Нам перед старыми фабрикантами совестно. Скажут: — Ишь, у Стрекопытова-то, на новом деле и то не ахти как зарабатывают.

— Подтянемся, — ворчат рабочие, — нам бы вдобавок придумать что-нибудь для большей выработки.

И тут же вместе с хозяином начинают советоваться, как начать делать это—так, а это—этак. Товаром были заинтересованы все и, чуть только получится из Москвы крупный заказ, сейчас рабочие:

— Василий Филиппович, надо прибавить.

— Хорошо, дайте только выработку лучше.

И так Стрекопытов постоянно подвинчивал рабочих: они старались будто для себя, а барыши получал Стрекопытов.

Я задумался над предложением Стрекопытова. Я был и оставался рабочим, но деться мне было некуда, и мне казалось, что я ни в чем не погрешу против рабочих, если стану управляющим, работая так же, как и они. Я принял предложение, и началась неизведанная еще мною жизнь рабочего-управляющего производством. Переселился в пустовавший тут же, при фабрике, дом и приступил к делу. Василий Филиппович основательно меня со всем ознакомил, столкнул потом меня со своим компаньоном и, в его присутствии, говорил совсем не то, что со мною. Я понял, что один из них должен с'есть другого. Компаньон был человек, чужой человек, которому порядком надоела непривычная для него деятельность, и он бы с удовольствием бросил фабрику, ежели бы не вложенные деньги. Стрекопытов же сам пока не выпуская его из рук и тянул из компаньона все, что можно было, стремясь поставить дело так, чтобы оно впоследствии дало хорошую пользу и оставило бы за бортом компаньона. Вскоре это так и случилось. Я забрал в свои руки фабрику, денежные переводы стали посылаться на мое имя, покупка материала пошла через меня, и компаньон наш начал сидеть на фабрике, как директор. А так как в фабричном производстве он ни бельмеса не понимал, то заскучал от безделья и выехал в Москву, к Василию Филипповичу — об'ясниться. Тот дал ему на всю сумму, вложенную

в дело, векселей и, сделавшись единоличным хозяином предприятия, тотчас заключил выгодный договор с московским оптовиком.

Закипела работа. Я так полюбил это дело, что ночей не спал и во сне железом бредил. Шел большой строительный сезон. Небоскребы в Москве возводились по щучьему веленью. Весной начнут дом строить, а уже в середине лета, — глядишь: в трех-четырех этажах жильцы копошатся. На одной стороне дома в крышу последний гвоздь вколачивают, а на другой — сад растет. И что ни дом, то тысяча-две окон да сотня-пять дверей.

Немецкие промышленники-скобянщики руки потирали. Скобяная промышленность в России была отсталая, товар грубый, шершавый, больше для уездных городов и деревень. А что хорошо — то дорого. Строители же дома строили, чтоб дешево было да сердито. И немецкими дешевыми и видными скобяными изделиями стали запираться в Москве окна и двери строящихся домов. Конкурентом Германии в этом деле была, впрочем, Польша.

Стрекопытов прекрасно учел все это.

— Ты думаешь, Саша, я компаньона отстранил только потому, чтобы самому остаться? Нет? Он — лишний человек в нашей среде. Он хорош только с деньгами, а без денег — нуль. Теперь дельцы нужны, а не ловкачи денежные, — денег у нас много. Дельцы же народ бесцеремонный. Чтобы стать на ноги, надо других свалить... Своих-то русских дураков легко, а попробуй-ка немца одолеть. Не ногами стоят они, а машиной; не руками работают, а головой. Вы потому и правительство не свалили, что головы, руками действовали. Ты сколько всего-то просидел в тюрьме?

— Семь лет.

— Семь лет... Семь лет, значит, немец за тебя тут деньги зарабатывал, свою промышленность улучшал, а ты сидел. Чтобы нам, русским, заграничников догнать, надо бросить ручную работу. Ты вот думаешь, небось что я там, в Москве, чай пью, а я тебе признаюсь, что на фабрике я отдыхаю. А там... там бегаю. Провести наш товар, при наличии конкурентов, трудновато. Ты знаешь, что я делаю. Я лекции читаю покупателю, учу наших строителей. Приезжаю к покупателю с образцами и начинаю демонстрировать свои приборы, приборы немецкие и тульские старой марки. На деле доказываю преимущество моего прибора. Как новой оригинальной вещью, им заинтересовываются,

но чуть коснется цены, мне и заявляют, что эта роскошь обойдется дорого. Тут-то и начинается самая трудность. Пускаешь все в ход: новость прибора, его вид, удобство, прочность и, главное, подчеркиваешь, что патент — изобретение русского фабриканта, его надо поддержать, ибо прибор по своему значению имеет большие преимущества перед прочими приборами. — Мы, русские фабриканты, просыпаемся, — говоришь инженерам, — и ваш долг — помочь нам. А вечером идешь с инженером в ресторан, или [illegible] его семье достанешь ложу в Большой театр, поговоришь с ним, понравишься ему, а потом и заказ твой. Постройки [illegible] неделю за день. Тут еще надо подумать о вас. Надо [illegible] фабрике. Да и производством голова занята. Мало изобрести прибор, его надо усовершенствовать, надо подумать об удешевлении. Иначе и с новым прибором нас с'ест Германия.

Слушаю я Стрекопытова и думаю: «Нового фабриканта [illegible] развитого, понимающего. Такой [illegible] и спросит. С ним борьба должна быть тонкая. Стелет мягко, но, когда будет ему нужно, заставит спать на камнях. Разгадать такого не мешает. Не мешает и поучиться». И, став управляющим фабрикой, я в сущности был учеником у фабриканта, как некогда был учеником у прежних [illegible]. Только тут узнал я доподлинно, что такое прибавочная стоимость, кем она создается и как она обогащает фабриканта

Пишет мне хозяин: «Приготовьте 100 оконных железных ручек по прилагаемому чертежу по цене два рубля за штуку».

Беру карандаш и вычисляю:

Вес стальных ручек 3 п., цена железа 1 р. 60 к. . .	4 р. 80 к.
Угару 1 пуд	1 „ 60 „
Стоимость штамповки	7 „ 50 „
Стоимость рабочих рук 2 руб. в день . 5 мастеров сделает в день 25 штук . . Для изготовления 100 шт — 4 дня . .	40 „ — „
Амортизация станков в течение 4 дней . . .	10 „ — „
Содержание служащих	10 „ — „
Накладные	10 „ — „
Разные непредв. расходы	40 „ — „

Итого (округленно) . . . . 125 руб.

Таким образом, пять человек рабочих в четыре рабочих дня создали прибавочную стоимость в 75 рублей. А если бы работало у фабриканта 500 челов., они увеличили бы за 300 рабочих дней прибавочную стоимость, не говоря уже об интенсификации производства вообще, во много и много раз, именно, дали бы фабриканту 562.500 рублей. Обычно 20% уходит на улучшение производства, а все остальное кладется на личные потребности владельца предприятия. И как ни мала была эта фабричка, владельцу она порядочные доходы все-таки давала. Через три года он имел уже огромный дом и красивую, хорошо оборудованную фабричку, а рабочие, как и прежде, не имели ничего.

Дальнейшему процветанию хозяина помешала война и революция.

На мою долю при управлении фабрикой выпала неблагодарная задача. Рабочие знали, что я — социалист, что я только что вышел из тюрьмы, а когда я стал управляющим — между нами сразу легла пропасть. Они меня понять уже не могли. Это непонимание началось с внешних признаков.

— Ишь, — говорили про меня беспартийные рабочие, — на фабрику пришел — штанов не было, а теперь сопли на выпуск [1]) носит. Социалист, социалист, а рабочим больше не захотел быть, в управляющие полез. Полегче ито да похлебней. Знаем мы их.

— Ты, Фролов, смотри, не жми нас, а то, брат, живо будешь на голову да на тачку, — полушутя, полусерьезно советовали партийцы.

Я оказался как бы вне своей кровной рабочей среды и очень остро это чувствовал. Уже потом я понял, что я был громоотводом для хозяина, и что в качестве такого и был нанят, подвергаясь и сам страшной эксплоатации.

Чтобы и в положении управляющего быть рядом с рабочими, я работал так, что они видели, что и мне хозяин платит деньги не задаром. Я ничего не чурался: заготовлял материал, чтобы не было задержки, выдавал работу, принимал ее, упаковывал товар, отправлял его, своевременно заготовлял расчетные

---

[1]) «Сопли на выпуск» означает – брюки на выпуск.

книжки, отчетность вел и в день раз пятнадцать в мастерских бывал. Чуть заметишь что-либо не так, и рабочий бьется и фабрика страдает, — подойдешь и говоришь: «Друг, не так надо сделать», — и здесь же возьмешь и покажешь, как надо делать. Сам работаешь, а рабочий стоит и смотрит.

Мне казалось, что рабочий больше будет уважать руководителя, если последний непосредственно будет трудиться. И я, принимая от них работу, доказывал, что я хоть и управляющий, но умею работать не хуже любого из них. Однажды меня за работой застал в мастерской Стрекопытов.

— Ты что делаешь, Саша? — Он всегда называл меня нежно

— Я вот показываю ему, как надо делать.

— Ага!

Через полчаса позвал меня наверх.

— Садись, — пригласил он, — и слушай. Я хочу, чтобы ты был человеком. Это тебе пригодится. Учись у меня. Чтобы быть администратором, надо уметь только приказывать, а не работать самому. Ты думаешь, он не умеет хорошо сделать. Умеет. Но он не хочет, — ему невыгодно. И, когда ты ему собственными руками наглядно показываешь, как надо делать, он над тобой в душе смеется. Больше этого не делай. Слышишь? Ты только требуй. Я тебе сейчас докажу это. Кликни-ка ко мне кого-нибудь из замочников.

Я позвал хорошего замочного мастера.

— Слушай, Семенов, — сделай-ка мне сейчас поскорее замок.

Спустя короткое время, тот приносит замок.

— Это ты что принес, — собратился к нему, хмурясь, Стрекопытов, вертя в руках замок.

— Замок.

— Да ты что, мастер или пастух?

— А что, что в нем плохого-то? — дрогнул голосом, явно робея, мастер.

— А ты не знаешь? Ты маленький? Ступай, сделай как следует. А этот оставь тут.

Принес мастер новый замок.

— Ну вот, видишь, совсем иное дело. На замок похоже. Вот и все так надо делать.

— Так делать, пожалуй, и на хлеб с квасом не заработаешь,— говорит мастер.— Прибавить расценку надо.

— Расценку я скажу ему, чтобы увеличил, — повел носом, косясь на меня, Стрекопытов.

Мастер ушел.

— А теперь, Саша, давай смотреть замки.

Смотрим: первый замок никуда не годится, а второй — вещь, как вещь.

— Видишь, не показывал и в мастерской не был, а товар мастер дал добротный. Надо уметь вести дело. Учись.

И самодовольно улыбнулся.

Положил он мне за управление фабрикой двадцать пять рублей в месяц. А непосредственной работы, забот и неприятностей я имел больше чем на сто. Бывало, как суббота подходит, так и душа не на месте. Требование на деньги в Москву послал в пятницу утром, а уже двенадцать часов дня субботы, а перевода нет. Пришлет или не пришлет? Если не пришлет,—что делать? Не скажешь же рабочим, что денег нет для уплаты. Разнесут. Начинаешь голову ломать, где бы занять. Наконец, приносят перевод. Расхода по фабрике — пять тысяч, а перевод на четыре, и бьешься, как рыба об лед, чтоб как-нибудь свести концы с концами.

Стал я примечать, что не я фабрикой управляю, а мной управляет хозяин. Да как управляет, словно человек палкой, кого хочет, того и ударит ею. Стал на дыбы я становиться. Он говорит: «так», а я: «нет, так».

Большие разногласия начались у нас. Я сказал ему, чтобы в свои наезды на фабрику он ничего не обещал рабочим, а ежели что обещаешь, то тут же давай письменное распоряжение на сей счет. Еще приметил я такую штуку: придет он в мастерскую и, чтобы поднять энергию в работе, насулит рабочим золотые горы; добавляет, что скажет мне, чтобы я — де, его приказ выполнил. Рабочие довольны: не хозяин-де, а душа настоящая. И ну гнать во-всю.

— Гляди, Саша,— корит он меня,— три дня всего я на фабрике, а как работа пошла.

— Да, ведь, вы же расценку прибавили, Василий Филиппович, а когда я об этом писал вам, вы не согласились.

— Какую расценку прибавил, что ты, Саша! Я им говорил, что прибавим, а когда это будет, — еще неизвестно. Ты уж, Саша, смотри, этого не делай. Нам и так фабрика убыток дает.

— Василий Филиппович, помилуйте, вы же сами обещали им! В какое же положение вы меня ставите!

— Саша! Здесь кто хозяин: ты или я?

А приходила суббота,— рабочие ко мне. Смотрят в книжку: расценка прежняя.

— Почему старая расценка? Василий Филиппович велел прибавить.

— Ребята, отвечаешь, — он не прибавлял.

— Как не прибавлял, тудыть твою мать! Ты что же это, злей хозяина хочешь быть! Он всем это в мастерской говорил. Давай!

Говорю им: — Вот что, товарищи, эту получку возьмите по старой расценке, а в другую вы получите разницу. А сейчас я, при вас же, запрошу письмом самого.

Строчу при них письмо, прочитываю им, отсылаю — и получаю ответ: «Прошу впредь не писать писем неделового характера. Ты управляющий и должен уметь быть администратором».

«Ах, ты так, размышляю.— Ну, хорошо! мне, ведь, с тобой детей не крестить. Ты хороший учитель, но и я — недурной ученик».

Не сжился я со Стрекопытовым. Мягкости во мне не хватило и уменья замолкать во-время: ершист был. Или он переменился, или я не тот стал, — только как ни приезд его, так у нас с ним и скандал. Любил он своими знаниями щегольнуть в обществе, очки втереть. Очевидно, натура такая у буржуа: как выкарабкается из толпы, на вершочек выше, так и кажется ему, что он — умнее всех. А Стрекопытов выкарабкался и не скрывал этого.

— Я всю жизнь боролся, — говорил он, — и ни разу не сидел в тюрьме, как Фролов. И победил: из ничего создал дело. Выдумал только предмет. А теперь многие около меня хлеб едят, кормятся. Поработаю немного, завод поставлю, счастливыми своих рабочих сделаю. Будь русские фабриканты культурней, — разве была-бы у нас революция? Ее невежество наше сделало. Отсталость. Если я — не только фабрикант, а и культурный

человек, — разве я допущу у себя до стачки? Никогда! Я заранее учту силы свои и противника и, если он — сильнее и условия складываются в его пользу, — я удовлетворяю все заранее, ибо, как коммерсант, я вижу, что от этого убытка мне не будет. Если же сила на моей стороне, и условия в общем не благоприятствуют рабочему, — я ему прямо скажу: не бастуй, — проиграешь. И он поймет меня. Новую жизнь рабочим мы принесем, а не социалисты, потому что у них нет самого главного: коммерческих знаний.

Он говорил и его со вниманием слушали в своем кругу. Многие знакомые знали, что Стрекопытов был прежде просто Василий Филиппович, а теперь — фабрикант и фабрикант с будущим. «Умница — толковали теперь про него. — Образованный. Этого не собьешь».

Разговоры происходили обычно за столом в компании. Собирались приятели и знакомые Стрекопытова. Перед ними легко было за умника сойти. Сидели за хорошо сервированным ужином, в чистоте, в тепле, ярком свете. Черных дум о завтрашнем дне — ни у кого: на каждого рабочие работали. И характерно: о рабочих вспоминал иногда только Стрекопытов, а остальные смотрели на них, как на вещь, о которой и говорить неинтересно.

Пили, ели, а внизу под ними скрипели пилы и стучали молотки бодрствовавших и ночью рабочих: торопятся они, рвут, чтобы лишний пятак наколотить.

Мастерская, в подвале, ниже поверхности земли аршина на два. Дым от махорки, желтый свет от ламп, пахнет ржавчиной. Как прикованные к тискам, стоят рабочие. Засучены рукава, растегнут ворот, черное от грязи, худое лицо и белки сверкают. При моем появлении останавливаются.

— Гости у самого-то? — спрашивают.

Наверху сын Стрекопытова, Сергей, запиликая на скрипке. Рюмка со звоном упала... По улице прошел кто-то, — и в мастерскую заглянул.

— Да, гости.

И, будто ножем кольнуло в сердце. Кто я? — Ноет в мозгу. — Где мое место? Разве я — не из подвала? Что сталось со мною, что я молчу? Боюсь? Кого?

Наверх я поднялся другим.

— Что там такое, Саша, за шум?

— Известно, подрались, — хихикнул в кулак Пономарев, владелец механической мастерской и сам бывший рабочий. — Шарлатан — народ!

— Казюки, определенно.

— А почему шарлатан,— спрашиваю?

— Ну-ка, ну,-ка, Саша, прохвати их, — повел бровями Василий Филиппович. — О-о, господа, вы бы послушали, как великолепно говорит он. Плевако был бы. Семь лет просидел в тюрьме...

— Да, Василий Филиппович, я скажу. Мне и впрямь хочется сказать, но не вам, а вам. Как не крутите, а без рабочих-дурачков богатеями сделаетесь. Но придет момент, когда рабочий [illegible] умников-фабрикантов и ученых, потому, что у него [illegible] свой, рабочий ум, еще вами неоцененный. Ум этот [illegible] страшный, соединятся умы рабочих всего мира, как [illegible] потянут! Все, все в рабочем есть. Он выпускает уже из своей среды [illegible] разведчиков в любых областях. Вы их убиваете [illegible] мещанской жизни и морали, и они пока не возрождаются. Но начнется общее наступление рабочего класса [illegible] старый мир — и они вернутся! Горе будет вам, ученым умникам [illegible] укладу! Сметет вас рабочий класс, и не такие, как вы, Василий Филиппович, устроят новую жизнь, а рабочие. Вы же живите и пользуйтесь моментом, пока внизу выстукивают вам гроб...

Что-то радостное было на лице Стрекопытова, когда я говорил это.

И чем дальше, тем хуже. Догадался Стрекопытов, что не из тех я, что себя продают, официален стал со мной. Как хозяин, придирками мелкими начал заниматься. Потом, в одно чудесное утро старшего сына своего прислал, что когда-то мы Онуфрием звали, — и меня вышвырнул.

Учеником я был не плохим, а все-таки,— за воротами уже увидел — зевнул, как говорится. Работы по самоварной специальности своей искать стал — не нашел. Пришлось податься по другой специальности: хроникерство вспомнил. Послал несколько статеек

в местную газетку. Напечатали, только без фамилии. Побоялись поставить, — знали меня. На жизнь не хватало, на простую кашу перешел. Впереди — ничего определенного. Толкнулся в земство. Шишков, старый партийный работник, давно там работал, к нему обратился. Неловко ему было отказать мне, но отказал... и пообещал не забыть. К другому пошел, — к секретарю земства Гудзю, — социал-демократ. Сказал ему, кто я такой. Обещал дать работу, по составлению истории земства. Провалилось это дело. В самое земство брать меня и рекомендовать опасался: губернатор не утвердит, и его, Гудзя, репутация подмочится.

Все же я, совершенно случайно, попал в земство счетоводом, по начислению налоговых процентов, а позже упорядочивал земский архив. Получал я поденно, рубль двадцать в день, да на газетных заметках сшибал пятерку в месяц. Потекла спокойная чиновничья жизнь. Это было летом, — я отдыхал. Отдыхал телом, но душа бунтовала. Не по мне была эта жизнь. Болото какое-то, плесень. Опять в сечу потянуло. Читаю газеты и замечаю, что можно в них ребром поставить вопрос, крикнуть, так сказать: «Поднимайтесь, пора!».

А в Питере в это время «Правда», газета рабочая, вышла. Прочел и — все на свете забыл. Первая легальная рабочая газета. Читаю и всем существом чувствую, что газета рабочая, а пишут в ней рабочие мало. Не откладывая в долгий ящик, сажусь за стол и пишу статью «Записки самоварщика». Подписываюсь: «Бывший рабочий Н.». Фельетоном в двух номерах помещают. №№ 103 и 122. «Э-э,—думаю,—была-не-была, рискну: пошлю давнишний рассказ «На рассвете», который когда-то арестант начал напечатать. Послал. Настоящую фамилию проставил и даже подмахнул. Хлоп, — газету закрыли и все в ней конфисковали. Тогда же подумал, что надо готовиться к аресту. Но, по всей вероятности, жандармы захватили столько материала в редакции, что потребовались годы, пока до моей рукописи черед дошел. Я уже и забыл было про нее, но жандармы, как потом оказалось, ничего не забыли.

Шура была тогда со мною—по выходе моем из тюрьмы она стала моей женой. Жили мы, перебиваясь с хлеба на квас. В тяжелые дни, когда наступала голодовка, она меня подбадривала, хотя больна была—легкие ее были плохи, и она нуждалась

в сериозном лечении. Никогда она в меня веры не теряла—знала, что руки у меня для работы привешены, а не для безделья.

Чиновничья работа в земстве мне осточертела. Там мертвечиной пахло, а мне живой жизни хотелось. На завод поступить я не мог—не принимали. Я мало еще видел, мало знал, и больше всего хотелось мне жизнь противного лагеря изучить, посмотреть, чем живут и дышут те, кто нашего брата эксплоатирует. Рабочего лица своего я потерять не мог, оно было мое, настоящее лицо. Когда представился случай поездить по белу свету в качестве комивояжера, я согласился. Это было неприятное, но любопытное дело, и я считал эту работу временной, как все свои работы вне завода или мастерской.

Заделался я комивояжером, по началу распространяя гарное и вареное масла, конопляное и и льняное сырье и самовары. Поручил мне эту работу некий Верман, бывший раньше учителем, потом вояжером Виленской фирмы, затем ставший предпринимателем и коммерсантом.

Выехал я от хозяина на район: в Донскую область. Багажа при мне всего-на-всего три смены белья, но зато много прейскурантов, образцы масел в флакончиках и толстенная книга заказов. В голове звучат хозяйские слова: «В поезде будьте осторожны, чтобы не наскочить... (не на шпика, нет!) — на конкурента — вояжера. Продавайте кредитоспособным, предварительно наведя о них справки, продавайте лучше за наличные, в кредит — по векселям, но краткосрочным. Товар — вне конкуренции. Вербуйте покупателей солидных».

В боковом кармане у меня список семидесяти шести городов, сел, станций и местечек и — ни одного в них знакомого купца. Ни я их не знаю, ни они мою фирму не знают. А фирма по книге заказов и по рисунку прочная, большая фабрика с трубами и много лошадей возле ворот: товар развозят. А на самом деле у моего хозяина и его компаньона была на плечах голова, немного денег, возможность учета векселей в банке и большой двор с пустыми бочками. Для варки масла был куплен старый котел.

Поехал. Первая остановка на какой-то станции за Курском. Приехал еще затемно. Мороз здоровенный, на станции — пусто. Справился, когда на Харьков следующий поезд пойдет, чтобы до его прихода все обделать. Лавки в местечке закрыты,

день небазарный, — спят купцы. Прошел к буфету. Разговорился с буфетчиком: что за местечко, чем торгуют, каковы купцы? — Приехал, — говорю, — от общества, жизнь купцам страховать да невдомек, кто из них денежней, чтобы не по всем итти, время задаром тратить, а бить наверняка.

— Из богатеев у нас кто же?—говорит буфетчик,—вот нешто Никаноров, самый воротила, ссыпкой хлеба займается, лавку держит. Марья Ванна, — тоже баба денежная. Сидорчук — ничего, только плутоват больно. А остальные от них торгуют: так, перебиваются.

Рассветало. В морозные окна станции бледный свет сочился. Словно сонные глаза, светили усталые керосиновые лампы. Пришли мужики на станцию погреться, в мороженных, как ледышка, лаптях, в полушубках, с сосульками на усах.

— Во, морозиша-то! Хреше-нский!

Сбились в кучу и молча на буфет глядят. Буфетчик задул лампу. Я сел в сторонке и задумался. Скоро на дело итти, что-то получится?

Большое село, лицом к станции. На целую версту хаты крестьянские растянулись вдоль линии, как солдаты цепью и — все снегом засыпаны. Дома богачей, как офицера среди солдат, выделяются: кирпичные и при каждом — лавка. Из труб дым столбом. Мычат коровы, а на улице никого: деревня чешется, просыпается. На линию вышли рабочие с лопатами снег чистить. Спросонок не разомнутся. Скребутся, тупо глядят в пространство, даже не переговариваются. Совсем не те рабочие, что на заводах и фабриках. И мало их. А ширь кругом — глазом не окинешь; станция, точно маленький корабль в безбрежном океане; полотном снежным поля покрыты и — нет им конца-краю!

Не первый раз я на маленькой станции, а переживание куда другое. Раньше — сидишь нелегальным, только и дум, как бы не сцапали. А в этот раз и люди, и станция, и поля, и буфетчик — новые, совсем новые. О чем хочешь говори с ними, как хочешь думай о них и, благодаря тому, что тебе некого бояться, ты узнаешь их лучше, чем они сами себя знают. Свободно прогуливаясь по станции, не опасаясь, что перед самым носом вынырнет жандарм и спросит: «А позвольте осведомиться, кто вы такой»,— я дождался, наконец, утра и, перешагнув рельсы, направился на деревню: к купцам.

Пробыл я в районе месяца три, весь его из'ездил, многого насмотрелся. Дела шли блестяще и, против ожидания хозяина, смотревшего на меня, как на неделового, по его пониманию человека, я привез много заказов. Вернулся я домой в апреле. Хозяин не знал, куда меня посадить.

Денег вперед дал. Порекомендовал меня в магазин, где в кредит одежду дали. Предложил заключить с ним договор. С первых дней моей работы — жене, оставшейся дома, вместо условленных тридцати рублей — полсотни дал. По договору предложил семьдесят пять и семь с полтиной суточных.

Тут другая фирма предложила мне перейти к ней на такую же работу в Петербург. Я согласился и переехал в Петербург, хотя не знал, удастся-ли мне там акклиматизироваться.

В Петербурге я поселился в Новой Деревне, недалеко от Елагиных островов. Понравилось мне место тем, что Новая Деревня на провинциальный городок похожа: много зелени, солнца и простора. Огромные дома столицы меня давили. Я их любил, но жить бедному человеку в них было трудно. А тут я зажил, как на даче.

Столичный купец, как и везде, разнокалиберен. Есть очень барственные, а есть и простые, как на районе. Приемы по делам фирмы были здесь иные, чем в губерниях. В десять утра я отправлялся в магазин. По заранее составленному списку знал, к кому зайти. В отличие от купцов-старосветов, столичные купцы газеты читали, политикой баловались. Огулом сочувствовали кадетам. На социалистов смотрели, как на врагов или сумасшедших. О рабочих знали только, что они забастовщики и просто рабочая скотинка. Только окраинные мелкие купчики, у которых покупатель был преимущественно рабочий, слегка сочувствовали рабочим, и некоторые даже кредитовали их в дни стачек. Совсем другими глазами глядели производственники-купцы: эти читали нелегальную литературу и своевременно принимали меры к обеспечению себя от убытков на случай рабочего движения. А иногда и нарочито провоцировали стачку, стремясь сорвать заключенный договор, выгадать на неустойке.

Попал я в мир купцов и — точно повязка упала с глаз моих: постиг я многое, чего ни в жизни, ни по книгам не знал.

Каждый рабочий по наслышке знает, как живут богачи, а как оно в действительности-то, никто из них подробно не передаст. Потому — буржуй стеной себя огородил от того, кто на него работает, и через эту стену рабочему не перелезть, и слышит он только гул этой жизни, а самой не видит. А надо было ее видеть. Надо было рабочему изучить своего врага в его жизни. Надо было проникнуть в его сети, чтобы узнать все махинации. Страшна эта жизнь. И в цветах, и в музыке, и в бриллиантах пахнет она кровью. Ею забрызганы паркеты всех салонов, всех парламентов, всех первоклассных ресторанов. Акционеры с проборами до хребта, такие важные, элегантные, меняющие туалет три раза в день, куда хуже Киселева, убивающего по нужде фомкой. Приближаюсь к ним медленно и осторожно, боясь спугнуть. Ведь, еще стоя у ворот Баташевской фабрики, я мечтал пробраться в их среду, посмотреть, как живут они, что думают, что затевают против рабочих.

Фешенебельный ресторан «Медведь». С двенадцати ночи с'езд начинается. Подскальзывают автомобили, выпархивают тонконогие балерины с божественной наружностью и душою хищной кошки. Столичные львы, коммерсанты, заводчики, банкиры и крупное сановничество в позументах и без. Швейцар у под'езда, толстый до тошноты в горле, пудов на девять весу. В раздевальной шубы и дохи — одна богаче другой. Не снимают ее с плеч приехавшие, — она сама спадает на ловкие руки вешальщиков. Сквозь матовое кружево, тропические растения в задрапированных кадках зеркала прорезываются. Тончайшим запахом духов пронизаны стены, ноги утопают во мху ковров. И все залито хлынувшим в глаза светом. Стройный струнный оркестр играет, баюкая. В большом зале — нарядные женщины. Все цвета костюмов, все моды и целые витрины бриллиантов. Едят, а запах не кушаний, а необыкновенный, возбуждающий, непонятный. Выдрессированная прислуга, как английская машина, подает, принимает и — ни одного звука, ни одного неловкого движения. Одеты лакеи, как и господа. Если-б сел за стол, то и не разобрал бы, кто он: прислуга или барин. Разве лицо выдало бы: очень уж холуйское.

За столиком сидят директор завода Леснер, крупный акционер того же завода и банкир.

Беседуют тихо. «Медведь» утаивал от глаз смертных все, что там творилось. Это было буржуазное подполье, и сидевшие там не боялись, что их может кто-либо услышать. Да и не принято было здесь вслушиваться в чужие разговоры; все были заняты самими собой.

— Вы находите, что дела завода блестящи? — задал вдруг вопрос директору акционер.

— На это отвечает биржа. Акции Леснера только покупают. Продавцов нет, — пыхнул сигарой банкир.

— Если завод не будет бастовать, наши акции поднимутся на 10%. Я вам ручаюсь, — сказал директор.

— А я предлагаю вам, — отчеканил точеным голосом акционер, — чтобы вы забастовали. Как это сделать, сами знаете. Нажмите... на этих... ваших рабочих... чтобы они там... политику развели дней на пять. А вы завтра продайте тихонечко мои акции, а-а-а... как только завод забастует, начнется на бирже паника, акции упадут, купите мне акций в два раза больше, чем я спустил. Понимаете?.. На-днях я узнал о предстоящих больших событиях, заводу Леснера будет дан крупный заказ.

Услыхав это, я сам себе не поверил. Хотелось кого-нибудь в свидетели позвать: дескать, слушайте, что затевают они! И кругом, как во сне, — никого из своих. Я был в стане врагов. Вернулся домой, и в ушах неумолкаемо звенели слова акционера; «нажмите на этих, ваших, рабочих». Как по волшебству, встал передо мной завод, мастерская, вывешенное об'явление директора о сбавке расценки или что-либо вроде этого, тревога среди рабочих, горячие разговоры, негодование, призыв к забастовке, стачка, неприятности через нее дома, в семье, аресты, ссылка, потом конец стачки, рабочие отстояли, как говорится — выиграли, получили даже за прогульные дни. А там... кто это затеял... потирал от удовольствия руки: заработал столько, что, не моргнув, ползавода может купить! Знают ли об этом рабочие?

Сижу я однажды дома. Вдруг в комнату хозяйка вошла и говорит:— Александр Сергеевич, вас спрашивают.

— Кто там?—спрашиваю.

— Да выйдите сюда,— говорит хозяйка.— За вами городовой пришел.

Вышел в корридор. Действительно: торчит фараон.

— Вы будете Фролов?

— Я.

— Вас просят явиться завтра к девяти часам утра в участок.

На другое утро в полиции мне заявили, чтобы я немедленно отправился в жандармское управление, которое меня разыскивает вот уже три года.

Опять сидеть зовут, думаю. Шура испугалась. И одного не отпустила.

— Я пойду с тобой. Пусть и меня с тобой посадят.

Пошли утром на Таврическую,— кажется, рядом с Государственной Думой. Громадный серый дом. Особенный какой-то внутри: комнат много, входных дверей тоже, а как войдешь, словно — в паутину муха,— нет выхода. Всюду жандармы, жандармы и жандармы. Не новичек я был в этих делах, а и то жутко стало.

Нас спросили, по какому делу мы пришли.— «Понятия не имеем»,— ответили мы.— Просили притти, вот — бумажка.— Пробежали глазами,— указали — куда итти и приставили жандарма.

— Вас обоих вызвали?— спросил жандарм.

— Нет, меня одного. А она со мной.

Жандарм насторожился. Перед каким-то кабинетом нас попросили обождать, а, спустя немного, меня вызвали. Шура бросилась было за мной. Ее остановили.

Вместо кабинета я попал в отделение с целым штатом жандармов. Тут писали, подшивали дела, около каких-то приборов толклись люди, лежали на столе краски, фотографический аппарат был на готове,— короче: жандармская лаборатория на полном ходу. «Не то, что в провинции», мелькнуло в моем мозгу. Никакой торжественности в деле не чувствовалось. Работали сухие профессионалы — дельцы. Ко мне подошел жандармский офицер.

— Вы господин Фролов?

— Да.

— У нас есть ваше дело. Дело у вас небольшое, литературное и ничем вам не грозит. Мы сейчас вас допросим и возьмем только подписку о невыезде. Вы нам скажите, где вы до сих пор скрывались? Мы вас разыскиваем уже три года.

— Я нигде не скрывался, все время жил легально.

— Этот рассказ «На рассвете»,— подал он мне рукопись,— вы посылали в редакцию газеты «Правда», в 1912 г.?

— Да этот рассказ мой, и я его посылал в редакцию.

— На имя кого вы его послали?

— Прямо, на имя редакции, персонально я там никого не знал.

— Вы за этот рассказ обвиняетесь по 129 статье. Подпишитесь и — позвольте вас снять и измерить...

— Вы — свободны.

В воздухе запахло военной гарью, погононосители задрали носы. Газеты запестрели статьями, направленными против Германии. В возможность войны с немцем не верили, зная, что царский двор кровно связан с берлинским престолом: и мать и жена Николая были сродни Вильгельму; немецкого происхождения много было у нас губернаторов, жандармских и прочих генералов.

И в коммерческом мире не мало копошилось ихнего брата. Они заваливали Россию и товарами, и специалистами. Русской буржуазии это было невыгодно во всех отношениях. При дворе началась борьба сторонников немецкой ориентации и русской. Суворинская газета откровенно заявляла, что «Германия для немцев, Россия для русских». Этот лозунг нашел себе отклик не только в среде буржуазии, но и в мещанских низах. Скандальная история придворного Распутина была связана с царицей-немкой. Ненависть низов к Германии была, в сущности, ненавистью к русскому самодержавию. Отечественная буржуазия ловко переливала на колеса своей мельницы воду мещанского возмущения. Не оставалась безучастной к войне и английская и французская буржуазия. Война была, прежде всего, дело прибыльное, верное. Любой военный хлам можно было сплавить и сплавить не зря. Кроме того, впереди мерещились новые рынки и т. п.

Однако, серьезного значения войне никто в Питере не придавал. Как-никак, трое шли против одного.

И мысли не было, что война может протянуться долго.

— Больше трех месяцев не провоюем,— покрякивали наши лихие усы,— до Берлина и обратно.

— За нас сам бог,— упрямо твердил клетчатый фатерланд.

Рабочий класс, переживший целую революционную эпоху и уставший от борьбы, в это время точно отдыхал, растворившись в обывательщине. Партийная работа велась, но в узких кружках, ибо самодержавный режим свирепо расправлялся со всякой попыткой широкой организации пролетариата. Солдаты революции — партийные работники были на всех заводах, но командный состав был рассеян,— главным образом, заграницей. И потому не было рабочих демонстраций протеста против войны. «Война — войне»,— это пришло уже позже, под просветлением самосознания пролетариата.

Выступили беспорядочной кучей кое-где только толстовцы со своей христианской моралью.

В день об'явления войны, я с утра поехал за Невскую Заставу.

Ничто не предвещало знаменательного дня. Жизнь шла своим чередом: работали заводы, торговали магазины, гуляла по тротуарам публика, нагружались и разгружались на реке баржи. Мой купец, к которому я приехал за заказом, только что получил три большие баржи с песком. Они стояли на Неве, готовые к разгрузке.

Купец был богатый, выгодный покупатель. Столкнулся я у него в этот раз с представителем немецкой фирмы Ландау. Товар у нас был разный, но один оказался общим — примусы; у него — немецкие, у меня — шведские. Купцу, как раз, нужна была партия примусов. Тут мы и столкнулись. Чтобы продать, я начал говорить о преимуществах шведской фабрикации, указал на улучшенную конструкцию шведского по сравнению с немецким.

Купец вдруг:

— Пиши!

А представитель Ландау мне вопрос:

— Сколько вы получаете?

— 150.

— Вот вам моя карточка, приходите завтра к нам в управление. Я вас отрекомендую нашей фирме. У нас вы получите больше.

— Пойдем, — сказал купец, если есть охота, со мной на баржи: сейчас там песок будут разгружать.

Три утробистые баржи, покачиваясь на воде и скрипя лесами, стояли у самого берега, недалеко от Путиловского завода. Чудовищный корпус черного закопченного завода, как ни в чем не бывало, пел свою обычную песню стальными голосами сотен машин, станков и молотов. Невероятная кузня, как вулкан, извергала огромные снопы пламени, бледного от яркого солнца. Все было окутано дымом и копотью. У спины завода свистели пароходики, сновали и барахтались лодки, лязгали баржи.

Нас встретил приказчик. Уже вторую разгружали. Зернистый золотой песок опрокинутой воронкой ссыпался на берег, и тачечники вереницей шмыгали с берега на баржу, с баржи на берег. Жара — как сквозняк. Работали молча. Вороты рубах были расстегнуты, и волосатые груди лоснились от пота. Жилы на руках налились шпагатом. Облипали ситцевые рубахи.

— К вечеру разгрузят?

— Кончим.

— Почем взялись-то?

— Целковый на рыло.

— Дорого.

— Дешевле не найти.

Мы сели на борт пустой баржи. Недалеко, направо, клюя носом, сидели рыболовы; брызгались и визжали мальчишки. На другом берегу виднелись, в трепетной дымке, деревушки, заводики и огороды. Лес гнали. Натужась, тащил малюсенький пароходик уродливую баржу с дровами. Затылок Невы был подернут радужным маслом и сиял переливаясь.

— Люблю я сидеть тут, — вздохнул купец, — когда вот вся эта возня идет. Россия, — одно слово.

— У нас, в Германии, лучше, — поправил немец, — грязи такой нет: машиной работаем. А ваши отстали: все руками да канатами. У нас эти баржи давно были бы разгружены.

— Ну и шли бы к себе, в Германию, — мрачно заметил купец. — Везде хорошо, а чего все к нам, дуракам грязным,

лезут? Машина!.. На што нам твоя машина, когда у нас силы девать некуда. Как был я молодой, без очков видел, а постарел,— в стеклышки гляжу. Сниму их,— и словно туман в глазах. А раньше на три версты лицо твое разбирать мог... Так и вы: отними у вас машины — и пропадете. А мы нет.

Над нами пролетел «Илья Муромец». Он шумел, как летящий завод.

— Смотри — обратился купец к немцу, указывая на аэроплан.— Когда нужно, и мы летим. Потому — приказано. А тут — не надо. Как работа подвигается?— крикнул он приказчику.

— Готовь на чай, хозяин, — насмешливо бросил ему с берега тачечник.

— Кончаем,— подтвердил приказчик.

За спиной ухнул паровой молот.

— Тише, песок рассыпешь,— засмеялся тачечник, сваливая тачку. — Ишь, ахнул как, аж земля дрогнула.

Вечером, когда я вернулся от купца, я не узнал Петербурга. От Николаевского вокзала вниз, к Адмиралтейству, весь Невский был полон народа. И не такого народа, какой раньше слонялся по проспекту, барственного, а разного, смешанного. Толпа не ходила по улице, а кружилась, как в водовороте. Даже подумалось:— не началась ли революция,— а потом вижу, офицерня мелькает, солдаты, извозчики посередь дороги, барыньки и — все кучками, кучками, — человек по пятьдесят-сто... Лица возбужденные, необычные.

На углу Садовой и Невского у конторы черносотенного «Вечернего Времени» и не проткнуться; большими буквами написано: «Германии об'явлена война». Тут же сообщалось, что немцы задержали русских и, в их числе, старуху-императрицу.

Забежал наспех в магазин. Хозяин с бухгалтером растерянно пробегали книги, подсчитывая, сколько они должны немецким фирмам и сколько им должны русские. Нам, представителям, было предложено больше не продавать товара, а постараться получить долги: хотя по полтиннику за рубль. Я понял, что вояжером мне больше не быть да и не нужно.

Купцы не желали платить деньги, хоть бы и долги.

— Какие теперь расчеты? — крутили головами они.— Война, а вы — расчеты. Немцев надо итти бить.

Торговля приупала. Не совсем обычно было и на заводах. Невидимая сила звала всех на улицу. Улицы гудели. Газеты были полны патриотических статей и разного вздора. На войну глядели, как на приятную прогулку, но страсти разжигали.

На второй день вечером начались демонстрации, затевавшиеся шпионами и правительственными агентами. Когда большая толпа демонстрантов с Выборгской подошла к «Вечернему Времени», в окно выскочил бритый суворинский сотрудник и начал держать речь, призывая бить немцев.

Напротив редакции сияло витринами шикарное кафе Рейтера. Там, несмотря ни на что, шли бойкие обороты.

— Граждане!— крикнул нововременец,— в то время, как наших братьев в Германии мучают, сами немцы у нас спокойно заседают в кафе.— Позор нам! Долой их! Бить!..

Я никогда не слышал призывов к погрому. В одно мгновенье наэлектризованная толпа зарычала по-звериному, завертелась и... бросилась громить.

В полчаса кафе Рейтера было разбито вдребезги, и погромщики кинулись к немецкому посольству и кого-то там убили.

Подумал я недолго и махнул в Тулу. Рассчитывал-то я поступить в завод, а попал в тюрьму. Война — войной, а жандармы — жандармами. Не успел я и трех дней прожить, как меня потребовали в жандармское и сказали: «Вы бежали из Петербурга из-под жандармского надзора, вас приказано или арестовать или оставить на воле под залог три тысячи рублей. Откровенно говоря, я забыл, что дал подписку о своем невыезде из столицы, денег же у меня не было и, скрепя сердце, я снова сел в тюрьму.

Та же тюрьма, те же люди.

— Фролов?! Опять? — удивленно встретили меня старые надзиратели.

— Опять, друзья, к вам.

— Теперь за что?

Пояснил, что арестован, как литератор. Не поняли. И я заметил, что не было теперь к моей личности ни особой ненависти, ни особого сочувствия. Третьим моим пребыванием в тюрьме я как бы доказал им, что я — обыкновенная личность, тюремный житель, таких в уголовном мире у них было много. Так думать обо мне у них были основания. Из всех политических, побывавших в этой тюрьме, только я был «тройной» возвратник, остальные выходили и больше не возвращались.

Многие из прежних политических, известных тюремным надзирателям, жили в Туле, отошли от работы и занимали хорошие посты: Шишков А. М. заведывал в земстве статистикой; Рождественский стал учителем гимназии. Жизнь этих «политиков» в маленьком городке у всех была на виду. Видели ее и надзиратели. Им нравилось, что эти, некогда политические острожники, которых они, как кошек, ежедневно выпускали из камер «проветриться», стали вдруг «настоящими» людьми, пользующимися уважением и именем.

— Вот это политики, — говорили мне надзиратели. — Посидел раз—и довольно. Теперь место имеет, почет, деньги. Люди образованные. Его, как тебя, не возьмешь голой рукой. А ты так и век будеш сидеть. Кажись, уж в третий у нас?

— Слава богу, — отвечаю, — третий раз.

— Вот то-то и оно.

И снова отношение администрации ко мне стало фамильярное, на «ты» тыкали, не потому, что хотели этим подчеркнуть приниженность мою, а так, по-просту: дескать, свой парень, тюрьму любит. Десятки лет на их глазах прожил, из молодого стариком стал, а в жизни все тот же, что и прежде. Денег и выписок не было, тогда и теперь. На этот счет мне особенно везло. Последний раз попал, как литератор, можно сказать за почетную работу, за интеллигентскую, а в тюремной кассе на моем счету опять шесть копеек, а в тюрьме не скроешь: все и вся навиду. До меня сидел редактор местной газеты Фортунатов; денег у него куры не клевали, и передача ему была: сырок да маслице. То, действительно, газетчик был. А я, как и раньше, сам камеру мыл, и тюремный кандер хлебал и снова ко мне никто на свидание не ходил. Сам сказал Шуре:

— Шура, закабались куда-либо на год. Мне ничего от тебя не нужно. Себя прокорми.

Уехала в Саратов и поступила продавщицей в магазин.

Как раньше, был я в тюрьме одинок. Я пришел туда, без всяких переживаний, и жить начал, как дома. Больше этого: ужас войны свободу сделал неволей, а неволю тюрьмы — свободой. Тюрьма была спасительным окопом. Даже уголовные под тем или иным предлогом старались затянуть срок своего пребывания в тюрьме. Война им ни с какой стороны не была понятна. Они ее отрицали, и отрицали всем своим существом. Когда краткосрочным арестантам предложили вместо дальнейшей отсидки в тюрьме итти на войну, охотников не нашлось. А в камерах разговор шел:

— Начальников с надзирателями, вот кого на войну надо отправить, а нам там делать нечего. Как в тюрьму сажать, так — вы, а на войну, так — мы. Нет, брат, посидите на суку да попойте кукуреку.

Держали себя в это время арестанты свободно и деловито, о побегах никто не помышлял. Не строги были и надзиратели. Службу несли исправно, но к арестантам относились довольно снисходительно.

Чуть вздумает надзиратель по-старому приналечь на арестанта, как тот:

— Ты на войну лучше шел бы, чем нас караулить, мы сами не уйдем.

И неловко было надзирателям. Им, как и арестантам, предложили охотниками пойти; но, как и там, среди них никого не нашлось. А служба от войны избавляла. Среди надзирателей появились новички из богачей. Поговаривали даже о каком-то фабриканте, затесавшемся в надзиратели:

— Когда мы всю жизнь служили за пятнадцать целковых, никто не шел в тюрьму служить, — жаловались надзиратели, — а как на войну итти, так и в надзиратели полезли. Справедливость тоже!

Кое-кто из надзирателей задумали было поступить на оружейный завод: оттуда тоже не брали на войну и там здорово зарабатывали. Завод пустили в ту пору в три смены, по шесть тысяч в каждой. Стали строить новые корпуса, ставить новые машины, и в короткое время завод разросся чуть не до размеров Круппа.

В завод бросились фабриканты, лавочники, чиновники, городовые, — словом, «патриоты», желавшие «оборонить» родину и себя. Эти господа, сидя в засаде, кричали:

— «Война, война, война!».

Коренные оружейники, хоть и были поглощены этой массой, держались особняком. Среди них еще не было оппозиционеров, но «оборонцев» они ненавидели инстинктивно. Создавали для них такие условия, что нередко тот или иной «бегун» поневоле исчезал с завода.

Однажды прислали с фронта для ремонта большую партию винтовок. Начали осматривать. Одна оказалась заряженной и,— бац «оборонцу» в живот. Тот и пикнуть не успел.

— Вот и спасся, — спокойно разглядывая мертвого, говорили рабочие.

— Кто он был-то? — любопытствовали.

— Кто? Мясной слесарь.

— Теперь будет знать, как рабочим делаться.

— Много их таких налетело к нам. Завод от них трещит. На войну бы их всех!

— А вас?— протестовали «оборонцы».

— Нам там делать нечего. Мы тут нужны.

Завод пыхтел и клокотал, как горячий котел. Шла упорная битва людей с металлом. Его рубили, резали, пилили, точили, гнули и карежили, превращая в оружие. Останавливались рабочие только тогда, когда кто-нибудь в ремень попадал или в шестерню. Посмотрят на окровавленного, сплюнут и — через минуту — опять работать. Приемный покой не пустовал: что ни день, вереницей тянулись рабочие: — кто без пальца, кто без кисти, а кто без глаза. Возмущаться было бесполезно: все были военнообязанными и, при протесте, — к воинскому начальнику и — «пожалуйте бриться».

Я сидел в одной камере с толстовцем, простым крестьянином, Михаилом Ивановичем Новиковым. Рядом в одиночке помещался Душан Петрович Маковецкий, друг Льва Николаевича Толстого и его доктор, а по другую сторону — толстовец Сережа Попов, молодой человек прямо не от мира сего.

Все они сидели за составление и распространение прокламации против войны.

Как последователи Толстого, они все это проделали не тайно, а отпечатали на машинке несколько десятков прокламаций и разослали их по почте многим видным военным людям. Часть прокламаций Сережа Попов даже взял с собой, вышел на улицу и, средь белого дня, при всех, стал расклеивать их по заборам. Его тут же сцапали и, так как толстовцы принципиально врать не в состоянии, он все рассказал, убеждая жандармов, что война противна богу.

— Еще вы с своими бреднями, — усмехнулись те, и всех троих законопатили в кутузку.

Продержали их в тюрьме долго, но судить не решились, ибо состав преступления был такой, что пришлось бы публично доказывать, что война — вещь не противная христианству, и к тому же, по мнению охранников, просто не стоило заваривать кашу и создавать популярность людям, почти невредным правительству и не имеющим корней в народной гуще.

За толстовцами, как вождями, никто не шел. Но лица эти были интересные. Сережа Попов был подлинный юродивый. Он был весьма плохо одет и имел особое свойство доброты: попроси у него бедняк рубаху, он снимет со своих плеч и отдаст ему. До тюрьмы, как апостол, шатался он по деревням, батрачил у крестьян, ни гроша за это не получая, и, направо и налево, поучал жить, по тем же правилам, как учил Толстой. Везде его арестовывали, сажали. Он не противился произволу и принимал его без малейшего сопротивления. Его били, — он улыбался. Паспорта не имел, и на вопрос: «кто ты такой?» отвечал:

— Сын божий.

Почти таким же был и Маковецкий, врач, чех по происхождению. Сережа Попов был для него образцом, дойти до которого он никак не мог.

Оба боготворили своего учителя — Толстого, и заветы его были их евангелием. Что бы скверного ни случалось, они спокойно, нежно, от сердца, доказывали, что так поступать нельзя: это противно человеку. В самой прокламации они говорили: война противна человеку, но не призывали, однако, не итти на войну.

Михаилу Петровичу Новикову предстояло итти на войну, но он не боялся этого.

— Я не пойду на войну, это противоречит учению бога. Если бы все рабочие, — говорил он, — отказались сейчас делать оружие, никакой бы войны не было.

Новиков, как крестьянин, несколько отличался от Душана Петровича и Сережи. Он был хлебороб-хозяин. Он не негодовал на то, что у помещиков земли много, а у него мало. — На осьминниках суглинка, у него было четыре десятины; он, как крот, с утра до ночи работал. Он не пил, не курил, сапоги носил двадцать пять лет и хлеб ел так, что не пропадало ни крошки: каждый кусочек держал на обеих ладонях. Он не любил помогать бедным и не допускал и мысли о человеческом самоунижении из-за бедности.

— Я в военных писарях служил и из солдатского жалованья сумел сколотить деньжат на покупку негодной землишки. Я ее сделал годной. И у кого чернозем не родит, а у меня суглинок дает урожай.

Жил прилично и имел прекрасную библиотеку.

Душан Петрович был уже в преклонных годах, бел, как лунь, а тело и движения были, как у юноши: ни одной морщины, лицо бледное, с чуть розовыми нитями, глаза блестящие, свежие. Обрейся — и больше восемнадцати не дашь. В обращении со всеми — как святой: говорит тихо, нежно.

Мне толстовцы не нравились. Бескровные какие-то, как рыбы. И, сидя с Новиковым, мы часто беседовали о Толстом. Когда я начинал по-рабочему, с топора, доказывать нежизненность этого учения и даже вред его, Новиков умолкал, не желая спорить.

Мелькнули месяцы, а война все продолжалась и не было видно ей конца: как клубок разматывалась. Понемногу начало обнаруживаться явное предательство со стороны тех, кто затеял войну. Это предательство стоило народу сотен тысяч жизней. Рабочих и крестьян, серое солдатское стадо, немцы крошили полушутя. Стремление итти в бой «бить немца» сменилось рассуждением: как итти, когда у нас руки голые, а немец газом душит. Перед техникой страх животный выперся грудью вперед.

— Будет конец бойне или нет... — пошел на попятный народ.

— Скоро будет. Вот француз поддаст пару оттуда, а мы отселева давнем и — зажмем немца в клещи.

— Хитер он больно, немец-то. И готовился долго. Не зажмешь.

— А бог-то.

— Бог...

Задумалась простота над этим. В церквах служба шла и богу лбы били: — помоги немцев бить, — а выходило навыворот.

— Немецкий бог лучше вашего, — кричали из окопов немецкие солдаты нашим.

В прежние времена, когда армии воюющих сторон не лежали годами в окопах и не сидели подолгу близко друг к другу, они и не знали, как живут и что думают их враги. А в эту войну наш солдат жизнь немецкого солдата воочью увидал. И удивился. Почему немецкий солдат лучше живет, чем он? Задумываться начал. От бога это? Война коротко ответила ему: нет. Какой там бог, коли германский «чемодан» сразу в капусту превращает десятки образов божьих. Вместо них мокро только.

Свежие приходили, уходили в тыл измочаленные, раненые. Раненые залечивались и увозились обратно, а слепые, однорукие и чурбаки-безногие ползали в тылу по городам и деревням, никому ненужные, с опустошенной душой и умершей верой.

— Подайте, православные, пострадавшему на войне, — вопили на улицах.

И протягивали копыта вместо рук, в которых не так давно зажата была винтовка, стрелявшая за царя и родину.

— Бог подаст, — отмахивались прохожие.

Чумели глаза у изуродованного солдата. Перевертывалось нутро в мозгу. И прохожих коробило от нечеловеческого взгляда.

Крикнуть бы, да городовые на углах торчат.

— Этих бы мордачей туда погнать, — тыкали на них и военные и штатские, бормоча в усы. — Чего свечами по углам коптить небо...

— И до них доберемся, — грозил иной, — все-то не завтра кончится.

По деревням стали ходить среди темноты слухи, что скоро конец света. А перед концом света семь лет война должна

быть, семь лет мор, а потом солнце потухнет и—всему капут. Вильгельма темнота, подстегиваемая попами, считала антихристом.

Как попадет кто на фронт, — молись за упокой: немногие ворочались. А правительство все забирало и забирало солдат...

— Все там будем, — обреченно и покорно думали.

Миллионами овладело отчаяние...

Хорошо было только авантюристам да пастухам, что коров стерегли.

— Перевести всех людей хотят, — тут закопана истина, — в тюрьме окрепло такое убеждение. Тюрьма редела. Как ни ухитрялись уголовные просидеть до мира, не удавалось. Послабел суд. Судили уже не по преступлению, а по внешности: молод арестант, оправдывали: к воинскому — и на фронт. Поговаривали даже о специальных батальонах из арестантов.

Жизнь стала хуже: уменьшили хлебную порцию, приварок свелся почти на нет.

Тюрьму я оставил осенью. Оправдал меня суд. А год со счетов жизни был скинут.

Война продолжалась, и я не ощущал на воле никакой радости. В Туле оставаться было невозможно. Самоварные фабрики все запнулись, торговля поползла еще тише. На Оружейный и Патронный люди набрались, но поговаривали, что многих будут снимать и отправлять на позиции. Константинова забрили в солдаты, Галюев санитаром ушел на фронт, часть знакомых рабочих осталась в Петербурге. В Туле были отдельные лица, — об организации ни слуху, ни духу.

Шел из тюрьмы до дома и рассуждал: «где-то буду?». А в дом ввалился и сам по себе вопрос отвалился, отсох. Занесло студента к нам, — приятель брата был. Проездом через Тулу к брату заглянул: сидит, разговаривает. Я — в дом.

— Ба! Александр! — восклицает брат.

— Он самый. Прямо из суда. Оправдали. Здравствуйте!

Познакомил со студентом. Звали его Алексей Сергеевич Шибалов. Когда-то он увлекался революционным движением, почему и был знаком со многими партийными людьми эсеровского

голка. На этот раз он пристрастился к разного рода изобретениям. Учился он в лесном институте, а тянуло к механике. В годы войны учился мало, а занялся коммерцией: начал подумывать о взятии крупного заказа на оборону для фабрики своего отца, владевшего металло-ткацким предприятием.

В Пензе отстроился к тому времени большой галетный завод, могущий выбрасывать в день пять тысяч пудов сухарей. Завод строили и оборудовали англичане. Для завода нужно было в спешном порядке приготовить пятнадцать тысяч железных рамок с натянутой на них сеткой; англичанам возиться было некогда да и невыгодно, и эту кость со своего стола они швырнули русскому фабриканту.

Шибалов тотчас настрочил мне письмо к своему отцу, в Москву, рекомендуя принять меня на работу, и я выехал в Москву, запасшись, на всякий пожарный случай, паспортом беженца Гродненской губернии.

В ночевку попал в Замоскворечье. Там пустил для прописки свой паспорт, а в другом конце города — беженский. Оба прошли, и я по двум паспортам прописался в Белокаменной. Оба паспорта носил в голенищах сапог: в правом — Фролов, а левом — гродненский беженец. Так и помнил.

Скитаться пришлось недолго: направился я к фабриканту. Заглядываю в магазин — голова кругом: ни бельмеса не понимаю: металлические сетки, начиная от тех, которыми огораживают сады, в клетки которых чуть ли не собака пролезет, и кончая такими, куда блоха не проскочит. Дело специальное, требующее знаний. Сам хозяин до тончайшей нитки мог разобраться во всем. Правда, стар он был, и предприятием ворочали старые служащие, рогожинцы, — старообрядцы, один бухгалтер был новый человек: молодой и тоже из партийных,— звали его Николай Петрович. Рекомендовал его фирме, как и меня, молодой Шибаев.

Подаю я купцу письмо от сына, прочел он его и усмехнулся.

— Еще неизвестно, выгорит-ли дело с рамками для Пензенского завода. Когда возьмем заказ, тогда с удовольствием дадим вам организацию всего того производства. А сейчас, сами знаете, все стало тише. Только при военных заказах работа усилилась.

Пока что я поселился в доме хозяина, внизу, около кухни. Стал Москву наблюдать. Интересная была картина. В кофейнях

столпотворение. Много женщин. Разодеты в пух и прах, многие в обручальных кольцах: соломенных вдов разыгрывают и непременно офицерских. Гремит музыка, сверкают военные мундиры, шум гам. Идет торговля женским телом во-всю. Бьют народ на войне, как быков на бойне,— а тут как будто ничего и не было.

За столиками — много штатских. Пьют и о делах говорят: о сапогах, об одежде, о разных поставках.

Среди них — ни одного изможденного лица: все — холеные, упитанные. Что им война!

— Война для дураков, — слышу как бы в подтверждение.— А умному там делать нечего.

Одиннадцать ночи, а народу не убавляется: живет кафе!

Ветхий, весь облезлый, обвалившийся дом хозяина в Таганском тупике видал виды. Из разговоров я узнал, что это был приток эсеровской организации, кусочек русской революции. Но в мое время сюда стекались уже обломки.

Эти «бывшие» не любили самодержавия, но не любили и рабочих: божками для них были кадеты. Войну ненавидели, но воевать хотели «до победного конца»; сами же туда итти боялись и всячески отбрыкивались.

Вскоре стал я там «свой» человек, член семьи низа. Паспорт прописал, гродненский, как рабочий. Если провалится, решил — настоящий в ход пущу.

Тут подоспел заказ на рамы. Привезли нам вагона три углового пяти-осминного железа с Урала, а что с ним делать, как начать работу—никто не знает. У них дело сеточное, это — слесарно-кузнечное. Словом, надо было организовать новое производство и — быстро. Оглядел я помещения, познакомился с чертежами и докладываю: мне нужно четыре маленькие пресса для пробивки дыр, большой пресс винтовой для продавки углов, автогенный аппарат для сварки одного угла у рамы, десять тисков, тридцать мелких наковалешек, столько же молотков, десяток напильников драчевых и немного плоскогубцев.

В два счета все было куплено и привезено. Завертели машинку. Как начали рамы для галет шлепать, держись!

Глухой переулок застучал молотками. Старый дом ожил. Понравилось хозяину. Задумал широко дело ставить; взял

большой заказ на изготовление сеток для окопов; «Проводник» дал буферные кольца мастерить; писчебумажные финляндские фабрики прислали заявку на держалки. И заварилась каша. Война все глотала.

«Война до победного конца»,—кричали осипшими голосами промышленники, работавшие на оборону. Карман не рухнул, а пухнул. А война уничтожила бога, и веру, и семью, и собственность, и весь строй, ее родивший.

Уже не надеялись на «всемогущего»: вера не спасала от пули.

«Победит тот, у кого нервы крепче», — выметнула Германская буржуазия лозунг.

«Война до последнего солдата»,— метались обезумевшие вояки-профессионалы.

Опустели деревни. Заросли травой пашни. Что ни дом, то слезы.

И вдруг... раздались одинокие робкие голоса: «Долой войну!».

— Долой, долой!— подхватили измученные сердца жен и матерей.

— Верните нам наших отцов и мужей,— стонали и грозили женщины в Петрограде, у продовольственных лавок.

Выкарабкался из темноты косматый голод и, вытаращив глаза, начал озираться: на кого бы броситься. Все испугались. Всех пронизала дрожь.

— Чем дальше, тем дороже будет — смекнул Сергей Григорьевич.— Проволоки не хватит. Какая есть, надо сейчас же скупать. Скупил тонких сортов медной проволоки. И — хлоп: в банк заложил. Исчезла проволока с рынка. Хозяин потирает радостно руки и то и дело приговаривает:

— Ага! Товарца-то теперь нет...

Рано утром и поздно вечером будит фабрика сонных обывателей Таганского переулка. Тихий он всегда, спокойный, словно не в Москве находился. Его даже полиция за переулок не считала и редко посещала. Ни извощиков, ни пешеходов, и домов-то всего шесть, да и то на одной стороне, а по другой длиннющий забор. Зимой завален переулок снегом, а весной кошки дохлые в канаве валяются.

Ютилась на Таганском беднота горькая. С фабрикой ожил переулок. Туда-сюда рабочие сновали, ломовики появились.

— Опять загремел Шибалов,— покрутил шеей старый его рабочий Иерусалимский. Работал он у хозяина лет тридцать и все видел: и расцвет дела, и упадок его. Был Иерусалимский специалист и жил на фабрике в мастерской, вместе с плетельщиком Кузьмой. Низенького роста, Кузьма сам был работник сильнее машины: как станет с утра, так до вечера и не отрывается.

— На войну работаем,— твердит, ухмыляясь.— На оборону.

Он был военнообязанный и на войну итти не хотел. Но жизнь его была хуже окопной. День-денской одной рукой вертел он колесо, а другой поддерживал проволоку. Взмокнет чуть не до мыла, а тут же, в мастерской на рогоже и спал.

Сойдутся они, бывало, с Иерусалимским и — давай о войне толковать. Иерусалимский любил выражаться длинно, витиевато, с протекцией. Натерся он возле революционных организаций в Серпухове и знал кое-что. На войну смотрел, как на неминуемое следствие перенаселения.

— Тесно стало капиталу, вот он и пошел новых земель искать. Территорию раздвинуть хочет; посвободней, значит, чтоб было; жмет со всех сторон. Побьются так года четыре, и — кончат.

— Оно и сейчас не всем тесно, начинал Кузьма. Народу уже положили уймищу, а нам все тошней становится. Отобьют тебе руки и — на просторе ничего не сделаешь. Нет, брат, тут не в тесноте загвоздка. Умников много стало, крутят нам дуракам голову. Мутят. Народ мы — темный, куда ни позови, пойдем. А одумаемся, поздно. Умники же новую штучку придумают. Поди, угоняйся за ними. Одно слово: образованные.

Когда Кузьма был выпивши, он совсем не рассуждал, а просто свирепел. Придет из трактира в свой подвал, сядет и — уставится в одну точку. Потом вскочит, ударит обеими ногами об пол и придерется к кому-нибудь:

— Ты что, думаешь, я здесь работаю, чтобы на войну не итти? Боюсь, думаешь? Я барина жег,— не боялся. И стреляли в нас. Я жду. А ты так и подохнешь тут у плетенки. А наша возьмет! Не там возьмет, а тут!

Трудно было работать на заводах в военщину: устали все, измаялись, а конца-края войне не было видно.

Перебьют всех,— решил народ огулом. Отчаяние охватывало народные массы. Кристаллизовалось классовое сознание у рабочих — рабочие поднимали голову. Поражение следовало за поражением. Измена чиновников и командного состава стала очевидной. Жирная жизнь тыловиков била в нос.

— Надо увеличить расценку,—забродили голоса по фабрикам.

— Измена,— отбивались фабриканты.— Солдаты на войне кровь проливают, а вы тут бастовать! С жиру взбесились.

— Немец рабочих подкупил,—гудели офицеры на фронте про рабочих.

Невтерпеж стало,— стоял вопль на заводах: там — смерть и тут — смерть,— один конец!

Погнали на фронт... Вернули... Армия солдатская, мужицкая, с армией рабочей перемешалась. Ропот пошел. Недовольство военным командным составом — на фронте, недовольство в тылу — буржуазией и правительством.

Как ядреный столетний дуб, начал пошатываться народ. Командуют на фронте в атаку, а солдат ощетинился барсуком, ляскает зубами, рычит.

— В атаку!— вылезает из рейтузов начальство.

— Иди сам,— угрюмо чешет затылок солдат.

Немец же бил и бил нас, что называется—на обе корки: а по всей земле русской, как калики перехожие, ползли безногие, безрукие, слепые. Ползали голодные, холодные, беспризорные.

Они рассказывали народу, что видели, что слышали, действительность перемешивали с вымыслом и во всем был один яд: ужас.

— Мы гибнем,— грохнуло от моря до моря, от земли до неба. Гул пошел такой, словно Урал и Кавказ провалились и тартарары.

— Долой правительство Николая!

— Долой... долой... долой!— ударил набат над необозримой страной.

Зашатался трон и — рухнул.

И в радости, и в горе — рабочий всегда впереди. Как высыпал на улицу, как гаркнул: долой самодержавие!— не только наши солдаты услышали, даже немцы стрелять перестали,

ошеломились и... дрогнули. Это был первый крик, возвестивший миру о начале новой эры.

Загородить дорогу идущим вперед рискнули тогда немногие. На мосту, около Хитрова рынка, на Солянке горстка обезумевших полицейских, во главе с двумя приставами,— сгрудились на дороге, как затравленная стая волков.

Раздались мощные раскаты победной рабочей песни. Гужоновцы шли к центру. Растянулись во всю улицу и влекли за собой рабочих всего, (кажется, Симоновского), района. Руководил гужоновцами мало тогда известный с.-д. Хинчук. Все шли весело, как на праздник, совершенно не думая, что кто-нибудь преградит им дорогу. Первые шеренги вступили на мост. За ними колебалась черная лента поющих. Знамена, банты. Женщины, дети.

— За мной! — дико и жалко выкрикнули пристава городовым, кидаясь с револьверами на идущих.

Сверкнул в упор огонь, и — два последних выстрела смели рабочего.

Толпа не издала ни одного звука. Замерла. Окостенели и пристава, ничтожные перед могильной тишиной.

Бессильно опустили тусклые револьверы и — тупо глядели на лежавшего в синей блузе рабочего.

Ни слова не вымолвив, к ним подошли товарищи убитого, спокойно отобрали револьверы и, схватив приставов за ноги и за руки, раскачали и со всего маха с Яузского моста на гладкий лед канавы швырнули.

И кто потом ни шел по мосту, всяк бросал в них, чем мог.

И добили.

Со всех сторон Москвы саранчей шелестел народ к думе. Обычно не примыкающая к шествиям масс «чистая» публика на этот раз изменила своей традиции. Цилиндр и шляпка поплыли рядом с ткачихой в платочке и засаленным кочегаром. Старики плакали. Глухие звонари ударили в колокола, точно на пасху.

Поздравляли друг друга. Чужие целовались.

— Добились, добились,— неслось отовсюду.

— Теперь — сами хозяева!

— Городовых — на фронт!

Шла с музыкой пехота, ехали казаки, легко покачиваясь и лихо заломив фуражки и папахи, гуркала артиллерия.

Им кричали «ура», забрасывали цветами. Суровые некогда казаки мило улыбались.

И, как проклятые, толпой валили арестованные городовые и жандармы. Их сопровождали улюлюканьем, но, надо признаться, по-детски, беззлобно. И потому, что сердце победителей было мягко, городовые шли, опустив головы, боясь поднять свои глаза.

Падение самодержавия буржуазию не запугало. Она восхищалась адвокатским красноречием Керенского, с удовольствием принимала она демократическую республику, но, когда у памятника Скобелева раздались смелые речи: «Долой войну», буржуазию и мещанство так встряхнуло от этих слов, что все полетело вверх тормашками. И в дальних медвежьих уголках России, куда едва-едва долетел грохот упавшего престола, долгожданная мечта «довольно войны» нашла живой отклик. Солдаты, крестьяне, рабочие, всем своим нутром поняли, что такое значит «долой войну».

— Долой войну,—запрыгало, как мяч по окопам, по городам и весям.

— Воевать до победного конца,—тянуло волынку временное правительство, буржуазия и те, кому война надбавляла жир на затылке.

— Вперед на немца!—командовал главноуговаривающий.

— Назад, домой,—отвечала армия.—Новая жизнь в России начинается. Царя нет. Сами—хозяева.

— Если при старом режиме умирать не хотелось, то теперь, когда свет блеснул, какого чорта ни за что погибать,—думали солдаты, вылезая из окопов.

— Долой войну!—тяжелой артиллерией громили смельчаки.

— Кто они, кто?—то с испугом, то с любопытством спрашивали друг у друга богатые и знатные.

— Большевики какие-то.

— Немецкое изобретение,—утверждала буржуазия.

— Наши спасители,—возражали рабочие.

— Изменники, предатели,—вопила офицерня.

— Мы за большевиков,—разом разрубили узел окопы. — Долой войну!

С бою брались вагоны уходивших с фронта эшелонов. пулеметами гнали их в бой с немцами.

Военных заказов уже не было и пришлось подумывать о переходе на выработку предметов мирного обихода. Все свое внимание фабрика сосредоточила на сетках для писчебумажных фабрик. Они изготовлялись прежде только заграницей. Я уже входил в курс металло-ткацкого производства и занялся изготовлением приспособления для крутки проволоки. Возился в мастерской, измерял, соображал, строил, опять ломал, пока не осилил этого дела.

Хозяин решил ехать в Крым и взял меня с собою. Когда мы выехали, на железных дорогах было еще сравнительно спокойно. Солдаты уходили с фронта, но лишь просачиваясь, дезертируя. Там шло горячее обсуждение вопроса — воевать или нет. Власть говорила, что надо, а большевики — масса — звали:— домой, землю делить!

В Крыму в это время отдыхали те, кто устал на войне деньги наживать. Все это были молодые здоровые люди, с такими же самками, отлично одетые. Я прожил месяц и ко всем приглядеался. Утром я их видел в одном костюме, в обед в другом, вечером, на пляже в третьем, а ночью в ресторане, в четвертом. Они шатались в кафе, совершали поездки в горы, пиршествовали так, что и людоед позавидовал бы. Чтобы не набить им оскомину,— администрация гостиницы усердно разнообразила меню и развлечения. Жрали все, что летает, плавает, растет, ползает; и подземное, и надземное; и свое, и заграничное; и южное, и северное. Выберется иной из-за стола, поводит осоловелыми глазами и не знает, что ему дальше делать: спать лечь—пузо треснет, гулять—невмоготу; и сидит, полощет кишки холодным виноградным вином...

В земном раю буржуазные боги жили, как свиньи.

Месяц пролетел совсем незаметно. Уехали мы на автомобиле в Симферополь. Опять железная дорога, станции, будки. В Харькове много солдат. С фронта домой. Пассажиры—первоклассники переполошились. Попросили проводника кругом закрыть вагон.

— Чего нельзя?— неслось с платформы.— На фронте воевать можно, а ехать нельзя,— пушай, тебе говорят.

— Чего с ним разговаривать, ломай дверь и кончен разговор.

— Товарищи, товарищи, тише,— пытается кто-то усмирить солдат,— в чем дело?

— В чем дело,— тараторило несколько голосов.— Мы с фронта, значит, домой, а он не пущает. Говорят, раненые в вагоне. А мы: открой и покажи. А он не хочет. Знаем мы этих раненых! Мы там — воюй, а они тут с девками раскатывают. Буржуи-дьяволы. Дай нам до дома добраться, мы вам покажем!..

На платформе — беготня, шум, гам, а в вагонах никто и к окну не подойдет. Часто заглядывает к нам солдатская сумка, или мешок, стараясь продавить стекло и втиснуться, но отскакивает. Наконец, второй звонок. Суматоха усиливается

— Не пустим поезда,— долетает до уха.

Стучат приклады в бока вагонов, и штык скользит по краске.

Все молчат и сидят смирно... В купе ехали: помещик Тамбовской губернии, портной с чахоточным сыном и человек неопределенных занятий.

— Что там творится, и не приведи бог,— шопотом передавал портной, украдкой поглядывая на платформу.

Он первый раз ехал в вагоне первого класса, и всю дорогу рассказывал, что стоило ему лечение сына.

— Но, слава богу, я поработал. Поработал. Большое войско в моем шитье ходит. Двести человек дни и ночи шили. И одели армию. А сейчас там... Батюшки, они все раздетые, рваные! Все спустили!

— Свобода...— мрачно кидает помещик.

Человек неопределенных занятий все время спорил с помещиком и доказывал ему, что раз народ получил свободу, он моментально победит немца, потому — немцу русская свобода — гроб. Он духом упадет, а мы поднимемся.

— А большевики? — ехидничал помещик.— Они такой дух вольют, что не успеешь оглянуться, как на фронте ни одного солдата не останется, все разбегутся.

— Что на станции делается, свобода!..

— Вы не так меня понимаете. Это бегут и говорят против войны не большевики, а солдаты. Они сейчас бегут назад, а отдохнут и вернутся обратно.

— А немец, по-вашему, дожидаться будет, пока мы отдохнем? Будет мух ловить? Эх, вы, либералы! Через вашу свободу теперь и в имение приехать нельзя: бабы, и те поднялись, — с горечью в сердцах, воскликнул помещик—мне пишут, пришли в имение и все подчистую разнесли. Что делает мужичье: сядет в кресло, раскарячит ножищи и: ну, теперь наша череда сидеть. Сидели баре, да будя... А потом — ра-аз! — кресло об пол. Кирпичи разбивали. В рояль, как в пузо человеку, ломом совали, струны рвали... Свобода!.. Вперед побегут... Да мужика теперь пулеметом не заставишь на войну итти. Избаловались!

— Это вы правильно, господин. — Избаловался простой народ — вставил портной.

— Темен, темен народ, что и говорить, я не отрицаю, — произнес человек неопределенных занятий.

Я слышу эти разговоры, и они вызывают во мне ненависть и омерзение. Поезд тронулся. Я лег спать.

Приснился мне тяжелый кошмарный сон. Приехал я, будто, в родной город. Много лет не был в нем, изменился, постарел, поседел. А город все тот же, — словно ничего и не случилось в его жизни. Идут по улицам люди, как много лет назад. Пару знакомых самоварщиков встретил, — дряхлыми показались, отжившими. Не узнали меня, прошли, сгорбившись, голову вниз опустив. Лицо знакомое женское мелькнуло. Кто это? Дай бог памяти, кто это? Варя! Не может быть! Белье в корзине проносила с речки. Затасканный подол, башмаки стоптанные, но все дыры одежи бедность глядит. А лицо? Старое, в морщинах. Несет корзину еле-еле.

— Варя! — кричу.

— Да ты что, брат, или не узнал меня?

— Что такое? Кто - ты?

— Вона, друг! Салтыков я, Павел.

Постой, думаю, как же так: Варя и Салтыков! Что это — галлюцинация?

— Салтыков... Паша... Ты Паша? Да как много прошло с тех пор!

— Постарел я, — отвечает. — Никто не узнает. Еще пяток лет и под холстинку. Дети жить будут. Пятеро у меня их. Старшему уже семнадцать.

— Так много, - вскрикиваю я.

— Кого много, — спрашивает голос.

- Детей. Зачем их так много?

— Каких детей, что ты буровишь! Я говорю тебе: там столько было убитых, что мы их возами валили в яму. Иной еще тепленький, глазами смотрит, лопочет что-то и не бросать бы, да уж за ноги взялись, ну, думаешь, все равно помрет и — бултых в яму, да известочкой польешь... Так вот всю войну и прожил между ранеными и мертвыми, санитаром работал. А жена дома была. Ведь я, ты знашь, на Салтыковой сестре женат.

— Так ты не Салтыков, — спрашиваю я. И начинаю уже пугаться.

— Я —Голюев. Помнишь Варю, — брат ее.

Идем с ним по знак[illegible] улице, где когда-то демонстрация была. Гляжу, много гор[illegible] мертвых лежит. А Иваненко шагает через них, как ме[illegible]ровами и, будто, ищет кого.

— Ты что ищешь? — спрашивает у него Батищев. Он весь в крови и во лбу у него большая рана.

— Я хочу найти того, кто меня тогда ногами пинал.

— Не тронь их, не тронь! — завопили со всех сторон убитые. — Они теперь наши.

Гляжу и глазам не верю: мой отец просит милостыню на улице. Слепым стал. Старик стоял молча, даже руку не протягивал. Невидящими глазами смотрел на проходящих, и по лицу было видно, что он страдал.

— Отец, — еле произнес я, подходя к старику. — Что с тобою?

Вздрогнул отец, слезы закапали.

— Сын! Это ты, Саша? Смотри, что со мною стало. Свет закрылся. Никому не нужен теперь: — все бросили. Думал, вы не оставите. Нет вас. Ты что же, опять, что-ли, в тюрьму пришел садиться?

— В тюрьму, в тюрьму его. Смерть ему — послышалось позади.

— Беги, беги скорее, — зашептал, оробев, отец. — Спасайся!

Я бежать вдоль улицы, а за мной гнался жандармский ротмистр Павлов.

— Стой, стой! — кричал он. — Не бойся. Я — мертвый. Меня облили керосином и сожгли... Ох, как это было горячо и больно!

— А-а-а... А-а-а... Тебе больно!.. Мало тебе!.. Мои ноги перестали двигаться. Ты видишь, какие кандалы носил я целые годы. От их тяжести голова моя побелела. Ноги высохли. Стариком стал. Слышишь? Это через тебя я слушал звон этих кандалов,—говорил Ефим Баташев, потрясая в воздухе снятыми кандалами. — Проклятые!

«Кандальников звонкие цепи взметают дорожную пыль».— доносится пение.

Откуда это? Кто поет?

Миша!

— А, а, Аркашка! Здорово, друг! Пою в Новохоперске песни офицерам. На войну меня забрали.

— А я сам пошел, добровольно. Трусы вы, — бросил из окопа Федоров. Он был во французском мундире, с винтовкой в руках и без головы. Окровавленная шея хлюпала и захлебывалась от смеха. Он брызгал кровью, как слюной, и закатывался на всю улицу. Около него столпилось много народу.

— Вы не верите,—твердил он.—Нет, это—правда: я бежал из ссылки во Францию и, когда немецкий абсолютизм поднял меч на французскую республику, я, как социалист, взял винтовку и пошел в окопы. Я добросовестно защищал республику, и в тот момент, когда в России свергли Николая, и я получил телеграмму немедленно вернуться на родину,— немецкий снаряд оторвал мне голову.

— Смерть, смерть немцам. Война до победного конца,— надрывались друзья Федорова: Ахматов и Коган. Они были

в элегантных, заграничных костюмах и стояли с чемоданами в руках, только что вернувшись из Швейцарии. Подслеповато приглядываясь, словно не узнавал меня, с удивленным лицом, стоял старый партийный работник, рабочий Сергей Иванович. Он прислонился к дверям редакции газеты «Голос Народа» и точно прятался, боясь быть замеченным.

Я кинулся к нему. Меня давил кошмар: кругом — мертвецы!..

— Сергей Иванович, — кричу. — Не узнаете? Поздравляю. С радостью. Победили!

Не моргнет, — уставился: лицо деревянное. Застыл. Что? И этот — мертвый! Товарищ!

— Идем за мной, — придушенным голосом вымолвил. Вокруг — темень непроглядная. Ни шороха. Мы торопились, молча. Он подгонял меня.

— Идем, идем скорей. Там — все наши. Ждут тебя.

Привел меня к горящему дому губернатора. В клубах дыма мерцали языки пламени; трещали и рушились балки. Кипящим салом посвечивало, освещая здесь и сгущая там бездну неба.

— Сюда,— повелительно указал Сергей Иванович. И не успел я переступить порог губернаторского дома, как он втолкнул меня в пылающую залу и — скрылся...

Со всех сторон охватил меня огонь. Я начал метаться, ища выхода, и ни одной двери, ни одного окна. Сплошные огневые завесы! Из ярко шевелящихся стен высовываются страшные рожи. Появится и —исчезнет... Потом, внезапно под самым потолком, одна стена отслоилась и — медленно-медленно — ну опускаться.

Зевнул предлинный корридор, суженный до невероятия.

С погребальными свечами в руках, в желтых хитонах наступали люди в масках прямо на меня...

— Этот? спросил старший, тыча на меня пальцем.

— Да, да, этот самый,— подтвердили позади.

— Искрошить его,— свирепо произнес он приговор. На меня навалилось несколько масок, схватили и — стали давить. Я задыхался.

— Говори,— визжали они,— ты против рабочих!?

— Рабочие,— крикнул я,— спасите!

— Ха-ха-ха! — дрыгали ногами, расплескивая огонь, маски.

— На пушку нас хочешь взять, мерзавец,—гаркнул над ухом старший, срывая с себя маску. — Я сам — рабочий.

Передо мной, во весь свой маленький рост, тянулся Сергей Колесников.

Я тоже выпрямился.

— Это, — еле дышу, — маскарад или всерьез?

— Какой нахал,—зашипели маски.

— Разрешите мне его повесить, — предложил провокатор Елисов. Он держал в руках веревку и скалил сияющие зубы.

— Попался, — ехидно улыбнулся он, стараясь говорить так, чтобы его слышал только я.—Теперь ты у меня не сорвешься! И его искаженное тленом лицо, с обнаженными зубами и передергивающимися мускулами, так и впилось в меня...

И все сгинули. Около никого не было. Вдали гремел Патронный завод... Покачивался труп повешенного провокатора Елисова, и осенний ветер, шумя в кладбищенских липах, шептал:

— Пе-чаль-на-я ошибка...

Я вздрогнул и — проснулся.

Кошмарам старого мира — чувствовал я всем существом — уже не воскреснуть — они могут присниться только в тяжелом сне. Поезд подходил к Краснокаменной, цитадели пролетарской революции, что смела всю грязь и накипь веков гнета и лжи.

УССР
Державне видавництво